



***Природа в поэме А.С. Пушкина
“Руслан и Людмила”***

Л.О. ВАРИК,

кандидат филологических наук

Значительное место в творчестве Пушкина отводится описанию природы. Поэт умел её видеть и понимать, “прекрасная природа была у него под рукой здесь, на Руси, на её плоских и однообразных степях, под её вечно серым небом, в её печальных деревнях и её богатых и бедных городах” (А.С. Пушкин в русской критике. М., 1953. С. 162).

Картины природы, лексика, обозначающая природные явления, широко представлены уже в “Руслане и Людмиле”. Эта поэма Пушкина знаменовала собой разрушение классицистического стиля, поразив “подлинных ценителей искусства своими высокими художественными качествами, непривычной лёгкостью языка, близкого к разговорному, своим искрящимся юмором, богатством поэтических красок” (Гудзий Н.К. Пушкин. Киев, 1949. С. 24).

Многие слова, входящие в тематическую группу “Природа”, пришли к восточным славянам из глубины веков. Их семантическая значимость чрезвычайно велика. Они в пушкинской поэме – слова-миры, слова-истории, свидетельствующие о бытовой и духовной культуре наших предков. Это *земля, поле, река, вода, степь, луг, лес, дуб, солнце.*

Дремучие леса и пустынные степи от Мурома до Киева преодолевали воины прошлых столетий. Киев – главное место действия былин, эпических песен о событиях древней Руси. Днепр – наиболее часто упоминается река. Поэтому неслучайны в поэме ономастические наименования: *в пустынных муромских лесах, богатых киевских полей, финские поля, вдоль берегов Днепра, днепровски волны*; они придают повествованию историческую конкретность, фольклорное наполнение, обогащают авторскую речь. Язык поэмы живой, лёгкий благодаря использованию постоянных эпитетов (дол *широкий*, дуб *зелёный*, *синие* туманы, в поле *чистом*, в *сырую* землю), разговорных форм слов (*рощица, лужок, ветерок, у ручейка, на травку*).

Лексика природы выступает как одно из выразительных средств художественной речи. Вот как с её помощью Пушкин рисует портрет Людмилы: “В его руках лежит Людмила, / *Свежа, как вешняя заря...*”; “Как часто тихое лицо / *Мгновенной розою пылает!*” (Пушкин А.С. Соч.: В 10 т. М., 1960. Т. 3. С. 66; далее примеры приводятся по этому изданию).

Привлекают своей точностью и поэтичностью метафорические образы, построенные на сходстве реалий живой и неживой природы (приём олицетворения). Например:

Долина тихая дремала,
В ночной одетая туман,
Луна во мгле перебегала
Из тучи в тучу и курган
Мгновенным блеском озаряла.

Или:

Яснили холмы и леса,
И просыпались небеса. (...)
Дремало поле боевое...

Древние славяне были земледельцами. Они обожествляли землю, солнце и воду. Заклинание солнца (один из культовых ритуалов славянского язычества) должно было дать плодородие, тепло и свет. В поэме слово *солнце* обозначает не только “небесное светило” (“И *солнце* с ясной вышины / Долину смерти озаряет”), но и характеризует князя Владимира, именуемого в народе Красное Солнышко, а у Пушкина – “Владимир-солнце”, “Владимир-солнышко”.

Частым атрибутом художественных зарисовок природы являются эпитеты. Например, создавая образ чудной долины, в которой есть два ключа, обладающих магической силой, поэт использует

антонимическую пару метафорических эпитетов *живая волна – мёртвая вода* и как следствие данных характеристик эпитет *тайные* (“из тайных вод”):

Долина чудная таится,
И в той долине два ключа:
Один течёт *волной живою*,
По камням весело журча,
Тот льётся *мёртвою водою*;
Кругом всё тихо, ветры спят,
Прохлада вешняя не веет,
Столетни сосны не шумят,
Не выются птицы, лань не смеет
В жар летний пить *из тайных вод*;
Чета духов с начала мира,
Безмолвная на лоне мира,
Дремучий берег стережёт...

Поэма шуточно-ироническая в своей основе, и это поддерживается, в частности, лексикой природы. Пребывая в отчаянии, Людмила “*на воды шумные* взглянула./Ударила, рыдая, в грудь./*В волнах* решилась утонуть –/Однако *в воды* не прыгнула/И дале продолжала путь”. Слова *на воды, в волнах, в воды* являются конструктивными элементами создания авторской иронии.

Реалии природы выступают как источник вечной красоты, гармонии, примирения с суетностью жизни. Старец, мудрый финн, беседуя с Русланом, утверждает, что “ручьи, пещеры наших скал”, “дремучие дубравы” – это отрадная тишина “в беспечной юности”. Для него природа в пору одиночества стала утешением старости: “И в мире старцу утешенье / *Природа*, мудрость и покой”.

В эпилоге к “Руслану и Людмиле”, являющемся как бы “отдельным” произведением, в тончайшем психологическом сочетании с картинами природы возникает образ самого поэта (см.: Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А.С. Пушкина. М., 1980. С. 46). Величественная кавказская природа вызывает у него возвышенные переживания:

Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немymi
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой...

В прологе поэт с помощью слов *у лукоморья, дуб, кот, волны*,

через леса, через моря, словосочетаний дуб зелёный, следы невиданных зверей, берег песчаный и пустой, бурый волк живописует созданную им действительность, вводит читателя в сказочный мир поэмы.

Природа – средство подтверждения фантастики, главной художественной ценности сказки. Людмила пребывает в заколдованном царстве у Черномора, злого чародея. И здесь мы видим фантастические истоки красоты – прекрасный волшебный сад. Для его изображения привлекаются наименования редкостной флоры и фауны. Словесно-художественный образ сада создаётся сочетанием тропов: эпитетами, метафорами, олицетворением. Например:

Аллеи пальм, и лес лавровый,
И благовонных миртов ряд,
И кедров гордые вершины,
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены (...) *И свищет соловей китайский*
Во мраке трепетных ветвей;
Летят алмазные фонтаны
С весёлым шумом к облакам (...) *Повсюду роз живые ветки*
Цветут и дышат по тропам.

Природа – фон, на котором развёртываются события далёких времён русской жизни:

И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют за рекой;
Щиты, как зарево, блистают,
В полях наездники мелькают,
Вдали подъёма чёрный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!

Слова *туман, река, поля, холмы* на предметно-понятийном уровне обозначают реалии природы. Однако они, хотя и не окрашены эмоционально-экспрессивно или стилистически, сопряжены тем не менее с такими эмоциями, как тревога, смута. Это слова-опоры, фоновые единицы, с помощью которых поэтически воссоздаются картины восстания печенегов.

Поле в “Руслане и Людмиле” – яркий поэтический образ, развернутый в выразительную картину из далёкого прошлого, которое поросло “травой забвенья”. Психологизм образа достигается фольклорно-образительными средствами: обращением к полю, риторическими воп-

росаами к нему, привлечением фигуры Баяна. Это вызывает грустное размышление Руслана:

“О поле, поле, кто тебя
Усеял мёртвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал
В последний час кровавой битвы?
Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачем же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?..
Времён от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья!
Быть может, на холме немом
Поставят тихий гроб Русланов,
И струны громкие Баянов
Не будут говорить о нём!”

Пейзажные зарисовки Пушкина – это своеобразный отсчёт времени, показатель поры года:

И дни бегут; желтеют нивы;
С дерев спадает дряхлый лист;
В лесах осенний ветра свист
Певец пернатых заглушает;
Тяжёлый, пасмурный туман
Нагие холмы обвивает;
Зима приблизилась...

В обозначении Пушкиным реалий природы нашли отражение языковые и стилистические нормы предшествующей поэзии. Отсюда славынизмы (*древа*, жадный *вран*, долина *брани*, *бранный* луг, ветер *хладный*, утро *хладное*, *позлащённые* плоды, на темени *полнощных* гор, *брег* отлогий, волны *сребрилися* в потоке), поэтизмы (стремнины, небосклон, дубравы, тень дубров, великолепные дубравы, в лазурных небесах, морей неверные пучины, благовонных миртов ряд), усечённые прилагательные (*борзы* кони, *стоletни* сосны).

Итак, поэтичность, эмоционально-смысловая насыщенность, выразительность языка Пушкина в большой мере обусловлены широким использованием лексики природы. Природа в поэме “Руслан и Людмила” предстаёт как художественный образ, способный доставить читателю истинное наслаждение.

г. Каменец-Подольский
Украина

Заметки о языке поэзии А.К. Толстого

О.П. ПОПОВ

“Тончаров говорит, что я стою совершенно особняком в русской литературе и внёс в неё новый элемент, и ни в чём на других не похож...”, – писал А.К. Толстой (Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1908. Т. IV. С. 111–112; далее – только стр.). Эта “непохожесть” – и в общей направленности его поэзии, и в тематике, и в языке. Язык человека формируется в основном в детские и юношеские годы. Богатство, гибкость языка Толстого, сохранявшего при этом простоту, связаны с благоприятными условиями его жизни. Воспитывавший его дядя, А. А. Перовский (русский писатель Антоний Погорельский), внимательно следил за первыми литературными опытами племянника. “С шестилетнего возраста я начал мараить бумагу и писать стихи – настолько поразило моё воображение некоторые произведения наших лучших поэтов (...) я уливался музыкай разнообразных ритмов и старался усвоить их технику”, – писал поэт в 1874 году (Толстой А.К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 424; далее – только том и стр.). Во время поездки в Италию юный поэт увлёкся античным и средневековым искусством. “Кроме поэзии, я всегда испытывал неодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях” (Там же. С. 425). А дома он постоянно слышал народную речь – и русскую, и украинскую, и разговорную, и песни.

Люблю пустынные дубравы,
Колоколов призывный гул
И нашей песни величавой
Тоску, свободу и разгул. (1, 669)

Люблю подчас подсесть к старушкам (...)
Люблю я слушать русским ухом
На сходках уличную брань! (1, 467)

Уже в первых стихотворных опытах поэта заметно не только влияние классиков – Пушкина, Жуковского, Лермонтова, но и то сочетание простой разговорной речи с архаизмами, которое характерно для всего его творчества. Архаизмов в ранних стихах немного: *вещает* (единственный в “Сказке про короля и про монаха”), *гладных волков, древес* (“Вихорь-конь”), *я чаю; очи; зрел я; лик; рек; глава; перст* (“Телескоп”). Преобладает просторечие, особенно в “Сказке про короля...”:

набѣт карман пирогами; на, брат, на здоровье; тѣфу ты!; попотчевать; добряки; ужас берѣт; страх как любили; ан вышло иначе; дребедень; сахар медович и пр. В этих же стихах видно безукоризненное чувство ритма – ямбы, амфибрахий, порой переходящий в дольник, анапест, пентаметр. Свободно владеет юный поэт рифмами, в том числе внутренними и составными:

Умѣн и учѣн монах Артамон,
И оптик, и физик, и врач он,
Но вот уж три года бежит его сон,
Три года покой им утрачен. (1. 646)

Здесь и архаичная форма: *бежит его сон*.

В молодости А.К. Толстой служил в архиве министерства иностранных дел, где занимался разборкой и описанием древних документов, и это позволило ему основательно познакомиться с древним русским языком. И хотя он считал, что плохо знает церковный язык (4, 195), однако писал на нём некоторые письма.

Жанр баллады, увлекший юного поэта, остался его любимым жанром на всю жизнь. В балладах яснее всего определились особенности его поэтического языка. Можно выделить две группы баллад. Одни – с драматическим или трагическим сюжетом. В них язык строже, больше архаизмов, почти отсутствуют элементы просторечия. В другой группе баллад, с благополучным исходом, больше обывденного языка, встречаются даже вульгаризмы, и нередко проявляется то, о чём сам поэт сказал: “Я шутив от природы” (235).

Одной из первых и лучших была баллада “Василий Шибанов”. Написана она тем 4–3-стопным амфибрахией, который стал основным размером его баллад. Тон задан, как обычно, первой, ключевой строкой (И.А. Бунин писал о решающей роли первой фразы для всего произведения): “Князь Курбский от царского гнева бежал...”. В авторской речи архаизмов немного, и не ими определяется строгий тон произведения. Нет их в речи Шибанова, простого воина. Но письмо Курбского полностью архаично и близко по языку к подлинному письму князя Ивану Грозному:

Царю, прославляему древле от всех,
Но тонушу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных? (...)
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях ...

Речь Грозного проста и резка. В черновике была фраза, не созвучная со всей его речью: “Давно ли с творцом говорит вещество?” (1, 719), но автор от неё отказался.

В таком же строгом стиле написана одна из последних баллад, “Канут”. Многозначительна уже первая строка: “Две вести ко князю Кануту пришли...”. Ясно, что эти вести недобрые. Архаизмов немного: *богатый помин* (подарок), *харатейная грамота* (на пергаменте), *багрец, подвод* (обман), *известь* (погубить), *с почину, бармы*. Элементы разговорной речи не нарушают строя баллады: *весело топают кони; у свата, я чаю, их много; я вижу без изъяна; жить люблю*.

Ещё строже, суровее начинается баллада “Три побоища”:

Ярились под Киевом волны Днепра,
За тучами тучи летели...

Но и в ней, состоящей из сорока строф, архаизмов немного: *княже, гридни, внемлю, бармица, ветрило, ворог, брашно, мнихи, стена, веси, стяжав*. Не больше и просторечия: *волос не заплетиши, спать уложит жёстко, ночесь недоброе снилось, ветру намахая, стоял на слуху, сметил место, наземь свалился*.

О балладе “Песня о Гаральде и Ярославне” автор писал, что она “более законченна, более еди́на” (4, 285). Эта цельность определяется отчасти гармоничным сочетанием литературного языка с умеренным подключением архаизмов (*княже, червленные щиты, враны, хламида, веси, гридни, вено*), просторечных слов (*размыкивать горе; сизый орёл; замешкался; здорово!*), а также повторением строки “Звезда ты моя, Ярославна!”, которой заканчиваются пять, а с вариантами семь строф.

В “Песне о походе Владимира на Корсунь” уже в первых строках сталкивается разговорное “Добро” с подчёркнутым архаизмом:

“Добро”, – сказал князь, когда выслушал он
Улики царьградского мниха...

Создавая образ своевольного князя, автор увлёкся передачей его резкого, насмешливого, близкого к просторечию языка, что входило в некоторое противоречие с важностью события – крещением Руси. В речи князя Владимира много таких выражений, как: *тешился бес; собью вашу спесь; обоих дружиной припру; ну то-то!; отделать его на все боки; щурья; чур; по уставу крестите*. И не совсем сочетаются с этими просторечиями его слова в конце первой части баллады: “Весна, мне неведомых полная сил...”, “Я гласу немолчному внемлю...”, “свет, озаряющий нас...”. Архаизмов немало: *вертоград, враны, со причтом, корзно, зане, глас, иконы мусийского дела*, – но они не уравнивают просторечия. Во второй части тон становится ровнее, просторечие почти полностью исчезает, архаизмов больше: *лик, град, демественный лад, стяжали побе-*

ды, ветрила, седалище (трон). Речь Владимира становится литературной:

Что смутно в душе мне сказалось моей,
То ясно вы ныне познайте:
Дни правды дороже воинственных дней!

Как непохожа эта речь на ещё недавнюю:

К вам ехать отсюда какая мне стать?
Чего не видал я в Царьграде?

Сам Толстой отметил в этой балладе “два – три старинных выражения, между прочим: *птаство*, т.е. весь птичий люд, и *полоз*, что значит: киль лодки” (4, 284).

В ином тоне написана баллада “Садко”, основанная на новгородских былинах. Толстой говорит о ней: “Это лишь картина на сюжет с новгородским колоритом и с известной непринуждённостью в выражениях, заключённых в строгую форму. (...) Мне кажется, что никто, кроме меня, к ней не прибегал; между тем, она позволяет затронуть с поэтической стороны некоторые вещи, иначе недоступные для языка поэзии...” (4, 286). И ещё: “Она мне кажется хорошей тем, что она очень наивна” (4, 398). Архаизмы в балладе неизбежны, а новгородский колорит достигается немногими диалектизмами и характерными терминами: *вящие уличане, посадник, тысяцкий, кончанские старосты, чередь, бранная скатерть, венецейский стакан*. Гораздо больше просторечия в языке Садко, водяного царя, да и в авторской речи: *царь-государь; не худо; городишь ты вздор; в репьях извалялся; в ус не дую; ужб; к чёрту шлёт; дрыгая; запыхтел и надулся; индо страшно; окарачь; чешет ногами обáпол; прёт, пятится, ломает коленца, валяет загребом и скоком; месит ногами; понёс его чёрт ходуном; хватил в потылицу* и т.д. Такого обилия просторечия нет больше ни в одной балладе, здесь она (“непринужденность выражений”) становится основным тоном.

Свободен и живой язык баллады “Сватовство”. Вся она пронизана весенней свежестью и радостью (“Боже, как это прекрасно – весна!” – 4, 283). Архаизмы в ней – лишь немногие штрихи, обозначающие эпоху: *зане, крыжатые мечи, аксамит, княже, берцы, золотой обор*. Больше элементов просторечия, но не грубых: *поётся лихо; косятся на окно; не шьётся – хоть иглы обломай; залётные птенцы; горемыки; чай; скрозь; почто; отселе; в мешке не спрятать шила; за зверью за иною*. А вот в балладе “Порой весёлой мая”, больше похожей на сатиру, рядом уживаются архаизмы (*мурмолка червлёная; корзно; вертоград; не лепо ли; лада; говяда; длани*) и лексика вполне современная: *материалисты, демагоги, анархисты, реалисты, земство, ижде-*

венье. Такое смешение стилей поэт широко использовал для достижения комического эффекта.

Наиболее торжественный стиль в балладе “Слепой”. Ведь в ней говорится о самом дорогом для автора – о свободе творчества, – и о трагическом непонимании поэта читателями (баллада написана в 1873 году, когда дорогое для А.К. Толстого “чистое искусство” воспринималось как анахронизм). Она насыщена архаизмами в большей степени, чем ранние баллады, их в ней более тридцати: *гридни; полеванья изведать; брашна примаются рушать; братины; мне песенник ведом; на княжой на призыв; пред сонмищем сим; персты; око; полонённый; градоимцы; зане; хламида; не тяжал; необорна; возглась; мнил* и др. И немного простых слов и выражений, какие раньше сочли бы несовместимыми с “высоким стилем”: *дед неразумный, плетётся, лохмотья, убогий*.

Переходной формой к сатирам была баллада “Поток-богатырь”. В ней действие происходит на протяжении почти тысячи лет и соответственно изменяется язык. “Зачинается песня от древних затей”, – здесь и *гридни*, и *кимвалы*, и полный набор сказочных существ (*баба-яга, русалки, леший, домовой, ведьма*). Спокойно и ласково звучит речь князя Владимира. Но через полтысячи лет царевна обрушила на Потока такую брань, какую в древнем Киеве вряд ли слышали:

“Шеромыжник, болван, неучёный холоп!
Чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросёнок, телёнок, свинья, эфиоп.
Чёртов сын, неумытое рыло! (...)”

Проходит ещё триста лет, и опять Поток попадает под огонь брани, но брань уже другая: *ретроград, феодал, пошляк, отсталой, неразвит* (“Язык у меня строго современный действию...” – 4, 148). Появляются новые слова и в авторской речи: *патриот, прогресс, гуманность, коммуна*. Немало и любимого автором просторечия: *супротив, месяц кажет рога, молодницы, гуторит, норовится, не на шутку струхнул, унести бы мне ноги, повалились на брюхи, дёрнул их бес*.

Среди поэм А.К. Толстого выделяется “Портрет”, написанный классическими октавами и близкий по языку к лермонтовским “Сашке” и “Сказке для детей”. Архаизмов очень мало, зато много слов, вошедших в язык XVIII–XIX веков: *гувернёр, формальность, поклонник Канта, реальная газета, землемеры, кондуктора, паровозы, омоним, ложный стыд*. Нашлось место и таким выражениям, как *долбил предлоги; зубрил; вихры пригилая; по уши влюбился*. Спокойному тону поэмы соответствует и преобладание сложных предложений, нередко занимающих целую октаву. Подробны описания – по четыре октавы отведены показу дома, портрету гувернёра. В изображение молодой женщины,

жившей в прошлом веке, внесены архаизмы: *персты, уста, краса, лик, вежды, вотице*.

В полной мере выразилась его манера в двух, на первый взгляд, непохожих, вещах: в поэме “Иоанн Дамаскин” и в балладе “Илья Муромец”. Главная тема в обеих – тема личной свободы (в поэме – и свобода творчества). Эта тема постоянно привлекала внимание Толстого: “Я не чиновник, а художник” (4, 54). Неоднократно говорил он о ненависти к любому деспотизму (4, 426). Сам он решительно отказался от предложенной ему придворной должности, чем вызвал недовольство царя. Герои названных произведений непохожи. Первый – человек высокой культуры, поэт, второй – крестьянский сын, “мужик неприхотливый”. Общее у них – любовь к свободе. Монолог Иоанна, покидающего столицу, несколько приподнят, это определяется началом: “Благословляю вас, леса...”. Архаизмы здесь неизбежны: *по коей; горней бури приближенье; деанья; зрю; лиет; алчущее стадо; стезя; приять; лобызять; отверзайтесь; веющие уста; юдоль (жизнь)*. Соответствует общему тону и лексика современного автору литературного языка: *святая сила вдохновенья; для дара своего найду высокую задачу; правда вечная; быстротечный век; мечта; мышление*. Просторечия нет. Естественно, что в сложенном Иоанном тропаре архаизмов больше всего: *на землй, зев, узрите, всуе, серебро и злато, сонмы, представительница, заступница скорбящим, вопием, дыханье тлительное, не внемлет слух, сомкнулись вежды*. Местами слышатся отзвуки то ли державинской оды, то ли библейского Екклезиаста: “Кто царь? кто раб? судья иль воин?”, “Всё пепел, дым и пыль, и прах”.

Илья Муромец тоже покидает стольный град, двор князя. И тоже произносит монолог, но не благословляет, а “ворчит сердито”. В его “ворчаньи” всего два архаизма: *княже, скрин* (сундук). Преобладает естественное для него просторечие: *хлеба кус; лакомь уж больно; забыл уж баб; тресну булавою; все твои богатыри-то, значит, молодёжь*. Но главное, как и в “Дамаскине”, – уход от богатой неволи, от “мраморных тех плит”. Впереди волюшка: “Государыне-пустыне поклонюся вновь”. Но и Иоанн идёт к тому же: “Тебя приветствую, пустыня, к тебе стремился я всегда”. Пустыня Иоанна настоящая, с безводными потоками и выжженными стремнинами, а пустыня Ильи – просто свободное место, хотя бы лес, пахнувший смолой и земляникой. Но и там, и там – воля для души.

В поэме “Дракон” ярко проявилось мастерство А.К. Толстого как стилизатора в лучшем смысле слова. Стиль поэм средневековой Италии выдержан строго. И.С. Тургенев писал, что Толстому удалось достичь “почти дантовской образности и силы” (Толстой А.К. Соч.: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 569). Этому способствует и форма – терцины, и многочисленные географические названия, и лексика (*гвельфы, гиббелины, кондотьер*). Просторечий нет, они были бы здесь неуместны, ар-

хаизмов немного: *ваятель, ендова, зане*. Подробны описания, чуть не четверть поэмы отведена изображению дракона и его действий. Обычно построение предложений у Толстого несложное, но в “Драконе” почти нет простых предложений. Уже первое – период, занявший двенадцать строк. Строфы 58–62 – один период. Впечатление сдержанной неторопливости усиливается сложными сравнениями:

И слышался под ним такой же стои,
Как если с гор, на тормозе железном,
Съезжал бы воз, камнем нагружён.
Равно ж как тормоз на своём пути
Всё боле накаляется от тренья,
Так, где дракон лишь начинал ползти,
Мгновенно сохли травы и коренья,
И дымный там за ним тащился след...

В старинном духе и такие образы, как “маханье чёрных крыл и перелёт тревожный”. Сам Толстой считал, что “всё достоинство рассказа состоит в *большом правдоподобии невозможного факта*” и в том, что поэма похожа на перевод со старого итальянского подлинника (4, 445).

Проще всего и вместе с тем музыкальнее язык А.К. Толстого в его лирических стихотворениях. В них не нужна стилизация, здесь звучит чистая авторская речь. Архаизмов совсем немного, вульгаризмов нет. Нередко заметны элементы народной поэтики. Толстой любил и глубоко понимал музыку, недаром половина его лирических стихотворений стала песнями и романсами. “Толстой – неисчерпаемый источник текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов”, – писал П.И. Чайковский (Переписка с Н.Ф. фон Мекк. М., 1935. Т. 2. С. 360). Столь же проникновенно поэт любил и понимал природу. “Любовь моя к нашей дикой природе проявлялась в моих стихотворениях так же, по-видимому, часто, как и свойственное мне чувство пластической красоты” (4, 426). Об одном из лучших своих стихотворений он писал: “Это гармонирует с окружающей меня природой...” (236):

То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
И зелень роц сквозила...

Такая же лирическая простота сделала столь популярным стихотворение “Средь шумного бала, случайно...”. В нём тоже преобладают глаголы. Но вот в хрестоматийной миниатюре “Край ты мой, родимый край...” глаголов нет. Формально это простое перечисление, но благодаря точному подбору существительных и прилага-

тельных – настоящая поэзия: “Свист полночный соловья, / Ветер, степь да тучи!”.

Порой язык его лирики очень близок к разговорному, прозаическому:

Шумит на дворе непогода,
А в доме давно уже спят;
К окошку, вздохнув, подхожу я –
Чуть виден чернеющий сад... (1,68)

Но ведь и прозаично само изображаемое, что иногда подчеркнуто:

Что за грустная обитель,
И какой знакомый вид!
За стеной храпит зритель,
Где-то маятник стучит... (1,117)

Об этой простоте Н.Н. Страхов писал: “Стих так прост, что едва подымается над прозою; между тем поэтическое впечатление совершенно полно” (1,25). Когда речь идёт о возвышенном, появляются архаизмы, но поэт не увлекается ими. В стихотворении “В стране лучей, незримой нашим взорам...” это: *сонмы душ; лики; отращены от мира суеты; земные нищеты* (множ. число). А в “Горными тихо летела душа небесами...” слово *лики* употреблено в значении “возгласы”. Обычно Толстой избегает преувеличений, “красивостей”. Осенние листья у него не золотые, а жёлтые или пожелтевшие, небо ясное или голубое, рябины вянущие. Но иногда, особенно в строках о любимой им весне (“Боже, как это прекрасно – весна!”), возникают и яркие образы:

Юный лес, в зелёный дым одетый,
Тёплых гроз нетерпеливо ждёт... (1,95)

... трепещущий бор,
Весь полный весеннего крика... (1,361)

Упрёк И.С. Аксакова в чрезмерной торжественности и непростоте языка, упрёк не совсем справедливый, А.К. Толстой всё-таки принял. Он только отстаивал своё право на приподнятый стиль в необходимых случаях:

Гляжу с любовью на землю,
Но выше просится душа;
И что её, всегда чаруя,
Зовёт и манит вдалеке –
О том поведать не могу я
На ежедневном языке. (1,191)

Но и в самом ответе Аксакову язык Толстого довольно прост, всего четыре архаизма (*душа влекома; иному гласу внимлю; поведать; псал-*

тырь – в смысле музыкальный инструмент). Торжественность этого и некоторых других стихотворений достигается не употреблением слов “высокого стиля”, а строгим подбором слов современного поэту литературного языка. Недаром так свободно вписались в ответ Аксакову строки из лермонтовской “Родины”. И вообще его архаизмы почти всегда вполне понятны, а такие выражения, как “да снидет ангел сна” (1,121) крайне редки. Посвящение императрице начинается так: “К твоим, царица, я ногам”, – а не “стопам”, как было принято. Хотя в том же посвящении есть и “долу склонясь задумчивой главой”. В ряде случаев поэт, “вытачивая” (его выражение) стихотворение, отбрасывал архаизмы. В черновиках стихотворения “Колокольчики мои ...” были *бармы, древле, княжй* (1,703–704), в стихотворении “Ты знаешь край, где всё обильем дышит...” – *выя; рек; рекли; бо срама нет; древле; златой* (1,705). Всё это было отброшено. В “Драcone” он заменяет *шелом* на *шлемом* (“Шлем как-то проще, чем шлемом” – 4,449). Конечно, полного отказа от архаизмов у Толстого не было, как нет его и в современной поэзии. Важно то, как они употребляются. По свидетельству О.И. Сенковского, избыток архаизмов в своей поэтической речи ощущал уже А.С. Пушкин: «“Полячка *младая*... – Это небрежность, надо было сказать *молодая*, но я поленился переделать три стиха для одного слова”. (...) Пушкин ушёл, уверяя, что все подобные отступления от настоящего русского языка “лежат у него на совести”» (Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., 1954. С. 7).

Но что решительно отвергал Толстой, так это “классицизмы” греческого и латинского происхождения. Даже у любимого им Пушкина он резко, хотя и шутливо, отмечал подобные “поэтизмы”, записывая на полях пушкинской “Дориде”:

Томительна харит повсюду неизбежность. (1,662)

В том же томике Пушкина напротив стихотворения “Кто видел край, где роскошью природы...” Толстой вывел:

Пятьсот рублей я наложил бы пени
За урну, лень и миртовы леса. (1,663)

И ещё резче на странице, содержащей четверостишие, обращённое к Е.А. Баратынскому:

Вахх, Лель, хариты, томны урны,
Проказники, повесы, шалуны,
Цевницы, лиры, лень, Авзонии сыны.
Камены, музы, грации лазурны,
Питомцы, баловни луны,
Наперсники пиров, любимцы Цитереи
И прочие небрежные лакеи. (1,663)

Сам Толстой пользовался этими “небрежными лакеями” или

для создания комического эффекта, или тогда, когда они были уместны. В “Крымских очерках” встречается *лавр*, но живой, не книжный (1,102) и *Дианы храм* (1,109). В шуточных стихотворениях есть и *Фебов синклит*, и *сребролукий*, и Алкивьяд, Хирон, Гармодий, Аристогитон, Пазифия и т.п. Есть даже своего рода неологизм на античную тему – *ксантиппость* (1,654). Но это шулки, где можно рифмовать *животворящий* – *живот варящий*, *треволнение* – *пищеваренья*, *причитая тако* – *кулебяка* и сопоставить *хлеб насущный* с *хлебом насущенным* (1,660). В таких стихотворениях Толстой даёт себе полную волю, порой даже озорничает. В “Послании к М.Н. Лонгинову о дарвинизме”, вполне серьёзном по смыслу, уже в начале встречаем и архаизм, и просторечие, и вульгаризм:

Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?

Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь... и т.д. (1,427)

И дальше рядом стоят “способ, как творил создатель” и “шматина глины”, “скудость веры” и “глупость порет”, “святая сила” и “дрянная пробка”. Такое смешение стилей в ряде стихотворений – вполне обдуманый приём. “Такой контраст мне нравится” (4,288), – писал он в аналогичном случае. Это не небрежность, а результат кропотливого “отдельвания” стиха. В стихотворении “Не верь мне, друг, когда, в изытке горя...” поэт испробовал двадцать один вариант шестой строки, в стихотворении “Слеза дрожит в твоём ревнивном взоре...” – восемь вариантов девятой строки (1, 711, 715).

“История государства Российского...” начинается бойким разговорным языком: “Послушайте, ребята, / Что вам расскажет дед”. С неприуждённой русской речью мешается то немецкая, то французская (Толстой – мастер макаронического стиха):

Хоть вишивая команда
Почти одна лишь шваль:
Wir bringen's schon zustande...

Архаизмов немного: *княжить*, *ведом*, *злато*, *умре*, *зело*, *паки* и *паки*, *извет*. Гораздо больше просторечия: *спихнём*, *тузить*, *послал шиш*, *калач тёртый*, *парень бравый*, *ногами заболтал* и др. Позже появляются слова из другого времени: *джентльмен*, *жандарм*. И вдруг летописец, рассказывающий о древних событиях современным языком, вспоминает, что он “худой смиренный динок”. и уже далес о реалиях

XIX века начинает говорить на языке седой древности, что, конечно, усиливает комический эффект:

Итак, начавши снова,
Столбец кончаю свой <...>

Зело изрядна мужа
Господь нам ниспосла.
На утешенье наше
Нам, аки свет зари <...>

Что аз же многогрешный
На бранных сих листах
Не дописях поспешно
Или переписаш...

Лучшей сатирой А.К. Толстого по праву считается “Сон Попова”. Высмеивая бюрократию и одновременно попытки властей “демократизироваться”, автор смешивает канцеляризмы (*циркуляр, регалии, экзекутор*) с элементами языка тогдашней публицистики, которые преобладают в речи министра, притворяющегося либералом:

Прошло у нас то время, господа, –
Могу сказать: печальное то время, –
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя.
Народ воскрес – но не вполне – да, да!
Ему вступить должны помочь мы в стремя,
В известном смысле сгладить все следы
И, так сказать, вручить ему бразды.

Искать себе не будем идеала,
Ни основных общественных начал
В Америке. Америка отстала:
В ней собственность царит и капитал.
Британия строй жизни запятнала
Законностью. <...>

России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать <...>

До боли знакомая лексика и темы близки сегодняшним. Нечто подобное можно услышать и прочитать в наши дни. Однако, возвращаясь к сатире, скажем, что не забыто, конечно, в ней и просторечие: *канальство; плюгав; наружу вылез; что пристал; беситанники*. Архаизмов немного: *ектенья, искони того ещё не бе, бразды*. Преобладает язык, близкий к тогдашнему журнальному. Даже жандармский полковник может сказать: “Вы б не упали нравственно

так низко!”. Но в целом его язык архаичнее министерского, что естественно:

К отверженным не может быть презренья <...>
Заблудших так приводим мы овец
Со дна трущоб на чистый путь спасенья.

Любовь А.К. Толстого к просторечию связана с тем, что он знал и ценил народную поэзию. В его стихах нередко слышатся отзвуки песен из сборников Сахарова, Рыбникова, Чулкова. Лексика, синтаксис, поэтика народных песен ему хорошо знакомы. Ряд его стихотворений написан в народном стиле. Иногда он использовал две–три строчки из народной песни (“Кабы знала я, кабы ведала”, “Государь ты наш, Пётр Алексеевич”). Но собственно диалектизмов в его стихах и песнях немного. Называя Украину своей родиной, в стихотворении “Ты знаешь край, где всё обильем дышит...” он употребил лишь три украинских слова: *чуя*, *парубки*, *гетманский*. В стихотворении “Ушкуйник” и в поэме “Садко” немногими словами создаётся “новгородский колорит”: *ушкуйник*; *детище дроцёное*; *бáгрить кораблики урманские*; *вящие уличане*. В “Словах для мазурки” три польских слова: *далибуг* (клянусь), *мось* (милость), *маришáлок*. В нескольких случаях – ударение по правилам польского языка: *гетмáнов*, *седлаем коней* (1,666–667).

Часто поэт употребляет характерные для народной поэзии уменьшительные формы (*нивушка*, *соловушка*), старинные деепричастные формы (*надуваючись*, *переваливаючись*), сдвоенные существительные (*мать-тоска*, *горе-гореваныще*). Такие формы встречаются и в его лирических стихах: *рученьки* (1,152), *думушка* (1,146). Он был рад, когда К.С. Аксаков и А.С. Хомяков говорили: “Ваши стихи такие самородные, в них такое отсутствие всякого подражания и такая сила и правда, что если бы Вы не подписали их, мы бы приняли их за старинные народные” (4,83). Некоторая грубоватость отдельных выражений усиливает впечатление народности: *пузо-то его всё в жемчуге* (1,243), *вор стянул гусака* (1,245), *да кабы приказных по боку да к черту!* (1,244), *никак, ошалел, он, ей-богу!* (1,289), *слушай, поганая рожá...* (1,258). В шуточных стихотворениях есть выражения и резче. Но обычными в тогдашней поэзии словами, вроде “ретивое” и “добрый молодец”, он не увлекался.

Нередко Толстой использовал приёмы повторения отдельных слов и выражений, отрицательных сравнений, что свойственно народной поэзии, усиливая музыкальность и взволнованность стиха. В поэме “Иоанн Дамаскин” есть места, где подряд идут несколько отрицательных сравнений:

Не с диких падает высот,
Средь тёмных скал, поток нагорный;
Не буря грозная идёт;
Не ветер прах вздымает чёрный...

Встречаются такие повторения и в лирических стихотворениях:

Ты, спутник, скажи мне, скажи мне, кто ты? (...)

Смешно мне, смешно (...)

Смеюся я горько, смеюся я зло ... (1,80)

Свойственна Толстому лаконичность, иногда переходящая в афористичность. Недаром он был одним из создателей афоризмов Козьмы Прутков. Вот некоторые фразы, которые мы встречаем в его былинах, балладах, лирических стихотворениях:

Неволя заставит пройти через грязь –

Купаться в ней свиньи лишь могут! (1,260)

Что придёт, узнаешь скоро,

Что прошло, то неважно! (1,130)

Хорошо братцы, тому на свете жить,

У кого в голове добра немного есть... (1,178)

Земля наша богата,

Порядка в ней лишь нет. (1,384)

Лови же миг, пока к нему ты чуток, –

Меж сном и бдением краток промежуток! (1,209)

От земного нас бога Господь упаси!

Нам Писаньем велено строго

Признавать лишь небесного Бога! (1,310)

Мне сдается, такая потребность лежать

То пред тем, то пред этим на брюхе

На вчерашнем основана духе! (1,312).

Те, кто обвиняют Толстого в приукрашивании изображаемого, не совсем правы. Тот, кто любит, обычно приукрашает. Вспомним описания Украины у Гоголя, Петербурга у Пушкина, Москвы у Лермонтова, щедро рассыпанные у многих поэтов в пейзажах *золото, серебро, алмазы*. Толстой любил Киевскую Русь и не скрывал это, любил природу. Но нет в его картинах золота и алмазов. В стихотворении о любимой им весне “Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо...” – *синеющие лужи, тростника желтеющие перья, бегущие по глине и песку ручьи*. Эффект красоты достигается на преувеличениях, а точным подбором деталей: *в завитках был папоротник тонкий, трава едва всходила, ручьи текли, не парил зной* (1,205), *и смолой, и земляникой пахнет тёмный бор* (1,317).

Из писем А.К. Толстого видно, что он вполне сознательно шёл на нарушение некоторых канонов. Отвергая упреки в употреблении “плохих” рифм, он писал: “Плохие рифмы я сознательно допускаю в некоторых стихотворениях, где считаю себя вправе быть небрежным, – однако небрежным только в отношении рифмы” (4,385). “Возьмите у Гёте сцену с Маргаритой перед статуей Мадонны. (...) Может ли быть что-нибудь более жалкое и убогое, чем рифмы в этой великолепной

молитве? {...} Но попробуйте изменить фактуру, сделать её более правильной, более *изящной*, и всё пропадёт” (4,386). Неточные рифмы обычны в народной поэзии. И Толстой был, пожалуй, первым поэтом, который вполне сознательно и широко применял и неточные рифмы, и ассонансы. Эта кажущаяся небрежность производит впечатление непосредственности, чего и добивался автор. В отличие от Афанасия Фета, покорно принимавшего замечания и поправки И.С. Тургенева, Толстой решительно спорил с тем же Тургеневым, отстаивая свою систему рифмовки: “... упрёк Тургенева – хромые рифмы. Возможно ли, что Тургенев принадлежит к французской школе, желающей удовлетворить требованиям зрения, а не слуха...?” (4,107–108). “*Гласные* в конце рифмы, *если ударение на них не падает*, по моему мнению, совершенно безразличны {...} Образуют рифму только согласные {...} Я защищаю не себя, а всю школу” (4,108–109). И как бы поддразнивая тех, кто упрекал его в небрежности, он в шутку рифмовал *офицеры – квартиры, добродетели – Аристотелю* и т.д. (1,476). В то же время он находит и полнозвучные рифмы (*лунный – многострунный, струю – стою, цветы – суеты*), и составные (*возмусь ли – гусли, завистливы – повисли вы* и др.) И только раз встретила у него архаичная рифма: *раздроблённой – вселенной* (1,165). Защищает он и употребление таких выражений, как *черёмухой пашет; подъехали сам-друг* в балладе “Свадьба”, говоря об их обыкновенном употреблении в крестьянской речи (4,393). Народный язык всегда интересовал его. В одном письме он сообщает: “К слову, о Дале, у меня набралось около 80 слов, которых в его лексиконе нет. Не знаете ли Вы, кто его продолжитель? Я бы ему послал” (4,421). И писал о В.И. Дале: “Своим словарём он оказал русскому слову огромную, ещё небывалую услугу...” (4,406).

Язык стихов А.К. Толстого приближается к языку поэзии двадцатого века. Это и за счёт сдержанного употребления архаизмов, и отказа от многих, ставших шаблонными, выражений и “красот”, и смелого введения в лирику разговорной и просторечной лексики. Порой он опережает своё время. Его стихотворение “Он водил по струнам; упали...” напоминает “Волшебную скрипку” Николая Гумилёва, – и романтической напряжённостью тона, и необычными образами (“змеино-го цвета отливы / Соблазняли и мучили совесть ...”). Неожиданно перекликается с гумилёвским “Да, я знаю, я вам не пара” его строка “Да, братцы, это так, я не под пару вам...” (1,122). Не случайно же стихи А.К. Толстого любили Хлебников, Маяковский, Багрицкий. И если его любовь к Киевской Руси временами выглядит архаично, то язык и поэтика были значительным шагом вперёд и повлияли (может быть, незаметно) на поэзию “серебряного века” и современную.

Семибратово,
Ярославская область



"Клеопатра"

Блока и Ахматовой

Пушкинские традиции в поэзии "Серебряного века"

В.Г. ДОЛГУШЕВ,
кандидат филологических наук

А.С. Пушкин неоднократно обращался к образу Клеопатры. Ещё в 1824 году его привлёк один из эпизодов, приписываемый римскому писателю и историку IV века н.э. Сексту Аврелию Виктору о том, что многие купили ночи египетской царицы ценою собственной жизни (Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. Л., 1983. С. 354). Новое обращение к этому образу относится к 1828 году, когда были написаны стихи "Чертог сиял...", впоследствии включённые в "Египетские ночи". Кроме того, в XVI строфе восьмой главы "Евгения Онегина" он сравнивает петербургскую красавицу Нину Воронскую с легендарной царицей:

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

В.В. Вересаев, доказывая, что прототипом Нины Воронской явилась знакомая поэта А.Ф. Закревская, писал: «Всё, что мы знаем о Закревской, весь облик её удивительно подходит к Клеопатре, как её понимал Пушкин и как изобразил в “Египетских ночах”, – бешено-страстной, находящей особенное упоение в вызывающем попирании всех признанных законов нравственности и даже приличий, внушающей прямо страх силою своей страстности» (Вересаев В. Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 386). Согласно этой точке зрения, в загадочной фигуре царицы Пушкина привлекал вызов личности условностям и ханжеской морали света, понимание ею любви как высшей ценности. Клеопатра в “Египетских ночах”, безусловно, переходит границы нравственности, однако это своего рода протест против пустоты и бездуховности окружающей её лиц.

Образ Клеопатры притягивал к себе поэтов “серебряного века”. Интерес этот далеко не случаен. В конце девятнадцатого – начале двадцатого столетия сюжеты и темы античности, Индии и Востока захватили русскую поэзию, прийдя в неё из западноевропейских литератур. Египетская жрица любви воспринималась как достопримечательность Востока, символ свободного чувства, греховной страсти, вседозволенности. Николай Гумилёв в статье “Теофиль Готье” приводит такие слова французского писателя: “Я отправился в Константинополь, чтобы быть мусульманином в своё удовольствие; в Грецию – для Парфенона и Фидия; в Россию – для снега, икры и византийских искусств; в Египет – для Нила и Клеопатры; в Неаполь – для Помпейского залива; в Венецию – для Сан-Марко и дворца Дожей” (Гумилёв Н.С. В огненном столпе. М., 1991. С. 321; курсив наш. – В.Д.).

Первый русский поэт, открыто провозгласивший себя декадентом, А.Н. Емелянов-Коханский в 1895 году выпустил шутивно-пародийный сборник стихов “Обнаженные нервы” с посвящением самому себе и “египетской царице Клеопатре” (Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 231). Эпатаж и самореклама Емелянова-Коханского вызвали недовольство В.Я. Брюсова и критические отзывы в прессе, однако сам факт посвящения книги Клеопатре свидетельствует о ее популярности в среде символистов. В 1897 году тот же Емелянов-Коханский опубликовал роман “Клеопатра”, который успеху автору не принес.

Ореол трагизма, окружавший образ Клеопатры, как нельзя более соответствовал пессимистическому мировосприятию поэтов и писателей рубежа веков. В России этот образ дал повод Александру Блоку и Анне Ахматовой поразмышлять о насущных вопросах современности, о неотвратимой роли судьбы в жизни каждого, ве-

ликого или малого (подробнее о пушкинском следе в поэзии XX века см.: Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии 1-й половины XX века. М., 1998). У Блока в стихотворении “Клеопатра” судьба (рок, фатум) – это предназначение свыше, она непредсказуема, человек лишь игрушка в её руках. А ход истории парадоксален и неподвластен логике, что подчас и приводит к полному переосмыслению значения личности в историческом процессе. Человеку не дано – в точности – предугадать своё назначение...

Блоковская “Клеопатра” построена на стилистическом приёме антитезы. Власть и величие, сопровождавшие Клеопатру при жизни (“Тогда я исторгала грозы”), обрываются печальным итогом существования всех смертных:

Тебя рассматривает каждый,
Но, если б гроб твой не был пуст.
Я услышал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст:
“Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь – я воск. Я тлен. Я прах”. –

Не случайно поэт широко использует антонимы (*тогда – теперь, слёзы – смех, мертвца – жива, рабом – царём*), применяет и такой оригинальный стилистический приём, как смещение временных планов:

“Царица! Я пленён тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом – и царём!...”

7 февраля 1940 года помечено стихотворение Анны Ахматовой “Клеопатра”. Впервые оно было напечатано без эпиграфа в журнале “Литературный современник” (№ 5–6), а в сборник “Из шести книг” (1940) уже вошло с эпиграфом “Я – воздух и огонь” из “Антония и Клеопатры” Шекспира. Сейчас же стихотворение публикуется с первоначальным эпиграфом из “Египетских ночей” Пушкина: “Александрийские чертоги/Покрыла сладостная тень”, сохранившимся в рукописи книги “Тростник” (Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 401). Из этого следует, что Ахматова с самого начала ставила своё стихотворение в связь с Пушкиным, однако впоследствии по каким-то причинам эпиграф был заменён.

Ахматова предложила собственную, весьма смелую трактовку образа Клеопатры, существенно отличающуюся как от образа порочной и сладострастной царицы Пушкина, так и от повергнутой в “прах” героини Блока. Вглядываясь в последние дни жизни царицы, Ахматова

изображает побеждённую, утратившую славу и блеск, но не покорившуюся, не сломленную женщину, по-царски величественно встретившую приговор судьбы.

Композиционно это стихотворение, как и стихотворение Блока, построено на приёме антитезы, оно состоит из двух противопоставленных друг другу частей. В первой крупными и сочными мазками обозначены все беды и несчастья, обрушившиеся на Клеопатру. Картина сменяет картину, рельефно обнажая трагизм случившегося. Напряжённость действия нарастает, время сжимается, что достигается при помощи анафоры – повторения наречия *уже*, союза *и*, а также глагольной лексики, передающей стремительность, неудержимость череды событий (*Уже целовала... / Уже <...> лила... <...> / И предали слуги. <...> / И входит последний пленённый её красотой <...> / ...и шепчет в смятении он...*), то есть использования приёма градации. Явленные на наших глазах удары судьбы и – спокойствие, невозмутимость героини (“Но шея лебяжьей всё так же спокоен наклон”), изображённые во второй части. Клеопатра с достоинством принимает от посланника весть о грозящей ей постыдной участи, да так, что тот чувствует себя предельно неловко: “и шепчет в смятении он...”. Противопоставленность частей подчеркнута, как и у Блока, собственно лексическими средствами. Лексика первой части высокая, торжественная (*предали, победные трубы, пленённый, в смятении, в триумфе*), во второй, напротив, она разговорная, стилистически сниженная:

А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете – ещё с мужиком пошутить
И чёрную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

К месту использованное разговорно-просторечное слово *мужик* усиливает, сгущает условную обыденность событий: трагедию Клеопатры и её хладнокровие, выдержку в решительную минуту прощания с жизнью.

Как видим, и Александр Блок, и Анна Ахматова предлагают каждый свою, далёкую от исторической реальности трактовку образа Клеопатры, однако такой подход вполне приемлем. Поэты не стремились создать исторически достоверный портрет египетской царицы. Они развивали пушкинские традиции, в иных исторических условиях решали художественными средствами проблемы взаимоотношений личности и общества.

КРАБИЙ МОНАРХ И ЕГО ИМПЕРИЯ

О символах в романе Ю. Домбровского “Факультет ненужных вещей”

Е. В. КРАСИКОВА,
кандидат филологических наук

В романе “Факультет ненужных вещей” символ “*краб*”, а точнее система, образованная в результате взаимодействия нескольких одноимённых образов-символов, не занимает главенствующего положения. Этот своеобразный “элемент поэтики” появляется и завершает своё развитие в рамках одной из пяти частей повествования, играя, тем не менее, значительную роль в художественной структуре произведения.

Упоминание о крабе встречается уже в первой части, когда Зыбин в связи с приездом в Алма-Ату Лины вспоминает поездку на Чёрное море. И сразу же, что бывает достаточно редко, обнаруживается иносказательная природа будущего образа (наличие ассоциативной связи, вторичная номинация): «“Да, тот краб был человек”, – подумал он (Зыбин. – Е.К.)» (Новый мир. 1988. № 8. С. 13; далее – только стр.). О том, что именно имеет в виду Зыбин, говоря о крабе как о человеке, рассказывается, в основном, во второй части романа. Следует отметить, что лингвистический анализ контекстуальных связей слова *краб*, позволяющий выявить характер семантической трансформации прямого номинативного значения слова, в данном случае недостаточен. Невозможно постичь совокупность смыслов, заложенных в системе иносказательных образов, ограниченной рамками одной части, не уяснив роли и места этой системы в структуре произведения в целом. Поэтому целесообразно начать анализ с описания, хотя бы в самых общих чертах, композиции романа.

“Факультет ненужных вещей” состоит из пяти частей, образующих асимметричную кольцевую структуру: *внешнее кольцо* (первая и конец пятой части) – свобода Зыбина, его жизнь до и после ареста; *внутреннее кольцо* (вторая, четвёртая и пятая части) – пребывание в тюрьме; *композиционный центр* романа (третья часть), ядром которого является суд над Христом. Таким образом, вторая часть входит во внутреннее, “тюремное”, кольцо композиции, но при этом как в реальном, так и в романном времени тесно связана с первой, что и определяет особенности её построения.

Основной композиционный принцип второй части – монтаж, построенный на оппозиции понятий *свобода* и *несвобода*. Тюремная дей-

ствительность (эпизоды допросов, рассказы сокамерника Зыбина Буддо о жизни в лагере, о системе советского судопроизводства) чередуется со снами и воспоминаниями о поездке на Чёрное море, о любви к Лине. Неподвластный насилью дух живёт в Зыбине и в заключении, ни физические страдания, ни даже угроза уничтожения не в состоянии его сломить, поэтому вся часть словно пронизана идущими из прошлого лучами свободы. Именно в этих эпизодах появляются образы крабов: базарные крабы; “настоящий” гигантский краб, купленный Зыбиным, тот самый, которого он назвал человеком; “крабий монарх” из сна Зыбина. Множественность объектов обозначения при едином определяющем, порождающая несколько семантических ареалов, – явление, нечасто встречающееся в практике создания художественных символов. Благодаря столь своеобразному соответствию опосредованно, через взаимодействие смыслов, складывается уникальный элемент поэтики – *система одноимённых образов-символов*.

Базарные крабы

Крабов на базаре маленького черноморского городка видимо-невидимо: вываренные, чистенькие, маленькие и побольше, разноцветные, аккуратно покрытые лаком. Но Зыбину все они кажутся ненастоящими, похожими то на “огромные круглые пудреницы”, то на “туфельки-баретки”, то на “туалетные коробки”, которые покупают, чтобы поставить потом “на комод на белое покрывало с мережкой” (70). Прямое номинативное значение слова практически полностью нейтрализуется, появляется и становится доминирующим совершенно новый ситуативно обусловленный смысловой элемент – безделушка, расхожее украшение. Эстетика лубка, царящая на базаре, определяется коллективным вкусом, невзыскательностью людей, для которых усреднённость, стандарт является стилем и целью жизни – чтобы “всё, как у людей”, чтобы “не хуже, чем у других”, – без этого возникает ощущение неполноценности. Базарные крабы, таким образом, становятся одновременно частью и знаком массовой культуры, а следовательно, и определённого психологического типа, порождающего эту культуру.

Настоящий краб

Зыбину же нужен совсем другой краб – настоящий, не похожий на базарных, игрушечных. Этот образ проходит в романе несколько стадий-воплощений: сначала он существует лишь в воображении Зыбина, затем это заплывший музейный экспонат и, наконец, живой краб, купленный у грека-рыбака. Независимо от стадии-воплощения в описаниях краба много общего: “настоящий, чёрный, колючий, в шипах и натёках, (...) в зелёных подводных пятнах на известковом шишковатом панцире” (70); “настоящий, чёрный, со дна моря”, живущий “в подводных гротах или в открытом море” (93); “огромный, чёрный, весь в ши-

пах, известняковых наростах в синей прозелени” (94); купленный краб был “страшно большой”, на нём были “бугры и колючки, какие-то швы {...} зубчатые гребешки” (112). Есть и повторяющаяся деталь – клешня, орудие нападения и защиты: “варварски зазубренные клешни” (70), “выбросил уродливую шишковатую клешню” (93), “с грозным бессилием выставлял вперёд зазубренную клешню”, “до крови заклешнил ему палец” (138). В результате складывается единый образ причудливого творения природы, морской диковины, грозного гиганта, всегда готового к смертельной схватке.

Идея купить гигантского краба принадлежит однокурснице Зыбина, в которую он был влюблён, но которая относилась к этому “как-то непонятно” (94). Она обещала поставить краба на свой письменный стол на память о нём, Зыбине. Незначительная, на первый взгляд, деталь играет немаловажную роль в развитии образа, поскольку сразу же возникает аналогия с разноцветными крабами, выставленными на многочисленных комодах любителей лубочной красоты. В сущности, уникальный краб, затребованный однокурсницей, оказывается вещью в ряду однородных предметов, исключительной лишь по некоторым характеристикам, а стремление к эксклюзивности в рамках стандарта – типичное проявление обывательского снобизма. Общность базарных крабов и краба, заказанного Зыбину, обнаруживается в способе их посмертного существования, в их функции в жизни людей. У одних – комод и маленький розовый краб, у других – письменный стол и гигант с зазубренными клешнями, а по сути, одно и то же: мёртвая природа, использованная для эстетизации быта, для указания на свою состоятельность в первом случае в виде соответствия стандарту, во втором – в виде мнимой (поскольку в рамках стандарта) исключительности. Загадочность отношения однокурсницы к Зыбину, видимо, и состояла в том, что он, человек неординарный, был для неё чем-то вроде огромного краба, который был ей интересен и нужен не сам по себе, а как знак его необычности.

На следующей, промежуточной, стадии-воплощении мысленный образ обретает реальные черты. Появляется действительно гигантский краб, но пока не живой, а в виде экспоната краеведческого музея. Разумеется, музейный экспонат утратил внутренние признаки живого краба (угроза, источник опасности) и даже некоторые внешние, наиболее тесно связанные с внутренними (потеря клешни), недаром у Зыбина он ассоциируется с моделью машины, то есть с чем-то ненастоящим, а только напоминающим о настоящем. Но всё же мёртвый краб из музея – реальное свидетельство существования “особой породы”, ещё не известной зоологам.

И вот, наконец, Зыбину с помощью директора музея удастся раздобыть настоящего живого краба. История с крабом “особой породы” предваряет узловые моменты развития основной сюжетной ли-

нии романа, является её смысловой параллелью: арест – заключение – освобождение Зыбина. Арест был обусловлен, с одной стороны, стечением обстоятельств и случайностей, с другой – особенностями его личности, своеобразной, яркой, не укладывающейся в рамки существующей системы. Краба выдернули из его морской стихии также по воле обстоятельств (влюблённость Зыбина, прихоть однокурсницы) и в силу его уникальности. Заключение для Зыбина становится непримиримой борьбой и одновременно медленным умиранием физической оболочки. То же с крабом, посаженным под кровать в расчёте на быструю смерть. Он пытается бороться: “до крови заклепшил ему (Зыбину. – Е.К.) палец”; “выбросил вперёд всё ту же страшную и беспомощную клешню”; и неотвратимо угасает без своей природной стихии: “глаза проросли белыми пятнами”, “на панцире тоже появилось что-то вроде плесени” (138). Однако на этом внутреннее соответствие в их судьбах заканчивается. Возвращение краба к свободе и жизни – результат позднего, но, по счастью, не запоздлого раскаяния Зыбина: “– Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! Обречь кого-то на медленное и мучительное умирание”; “– Но больше я уже не мог. У каждого скотства есть какой-то естественный предел” (138). Осознав это, он из палача превращается в спасителя. История с крабом становится для Зыбина значительной жизненной вехой, приводит к прозрению. Отныне и навсегда он знает, что причинить боль другому существу, каким бы оно ни было, – преступление. Но вот насчёт “естественного предела” Зыбин заблуждается, не обладая ещё горьким опытом общения с настоящим скотством. Его собственное освобождение вовсе не результат раскаяния тюремщиков. Он вышел из тюрьмы во многом благодаря случайности; другие же остались, да и сам он надолго ли на свободе?

В каждой ситуации по два действующих лица – тюремщик и заключённый: в черноморской истории – Зыбин и краб, в алма-атинской – следователь и Зыбин. Однако функции образов существенно различаются. В первом случае “заключённым” является краб, а Зыбин соединяет в себе и “тюремщика” и спасителя краба; во втором – роль тюремщика переходит к следователю, а Зыбин становится заключённым и остаётся спасителем, но уже самого себя. Его положение меняется на диаметрально противоположное, но внутренний мир сохраняется прежним. Не только прихоти судьбы обязан он своим освобождением, но и тому прозрению, которое пришло к нему при виде умирающего краба, когда он ощутил равенство всего живого в минуты страдания, перед лицом смерти. Это прозрение дало ему чувство внутренней свободы, силу противостоять беспредельному скотству. Вот почему, лёжа на холодном полу карцера, грязный и небритый, в полном неведении относительно своего будущего “он смотрел куда-то вовне себя. Он знал теперь всё. И был спокоен” (139).

Крабий монарх

Фантастический сон Зыбина в тексте романа имеет сложные сюжетно-композиционные параллели. Основные события сна – смертельная угроза, спасение – совпадают с событиями в жизни Зыбина, в истории с крабом. Но в подсознании главного героя происходит своеобразное наложение настоящего и прошлого, появляются знаменательные замены в системе и функциях образов: спутником Зыбина вместо директора музея становится его сокамерник Буддо; краб превращается во всесильного монарха, от которого исходит угроза жизни; сам Зыбин уже не хозяин ситуации, как в истории с крабом, а её возможная жертва. В описании фантастического краба Домбровский не прибегает к детальной обрисовке причудливой формы и окраски панциря морского гиганта. Теперь доминируют другие элементы значения: могущество власти, исходящая от неё смертельная опасность. Перед Зыбиным и Буддо в сухой ямине, куда вопреки всем законам природы не заливалась вода, сидел “краб-крабище – царь крабов, крабий монарх этих берегов”, походивший на “индийского многорукого идола – бога Шиву, что ли? – чёрного, древнего и страшного”. Он зловещ и опасен, “огромная колючая уродина с зелёными змеючими глазами”, “особый краб, ядовитый”, который “если защемит, то уж насмерть”. Опасность немедленно приходит, но не от ядовитой клешни, а от стихии, которая, подчиняясь монарху, затягивает в воронку каждого, кто не становится частицей сорного вращающегося потока: “Вода забурилась, заклокотала, покрылась пеной, как в котле, и пошла воронкой”, “вода всё прибывала и прибывала, бурая, сердитая, воронками, с сором и пеной” (93). Помочь некому, и, кажется, нет спасения – со стихией не поспоришь. Всё происходит, как и должно быть в страшном сне, когда охваченный ужасом человек теряет волю к сопротивлению, когда обстоятельства, стихия сдавливают со всех сторон, грозя расплющить, и последнее, что чувствует человек – желание крикнуть, чтобы освободиться от кошмара, разжать тиски, сдавившие его в комок страха и безысходности. Крик должен стать утверждением своего “я”, не поддавшегося натиску могущественной силы, а утверждение своего “я” означает отказ от смирения, противостояние, борьбу, выживание личности. Но для этого необходимо преодолеть панику и отчаяние. Зыбин смог и, крикнув, “понял, что спасён”.

Создавая систему образов-символов, Домбровский намеренно нарушает хронологию. В реальном времени сначала появляются базарные крабы-безделушки, потом настоящий и, наконец, краб из сна. В романном времени сон предшествует воспоминанию о живом крабе. Нарушение хронологии имеет определённый смысл. Крик как проявление личности, неподдающейся чудовищному давлению извне, необходим, чтобы выжить, но недостаточен, чтобы спастись. Нужно что-то ещё, без чего истинная жизнь, моральная победа человека в смертельном про-

тивостоянии невозможна, а именно: глубокое осознание истины о равном праве всего живого на жизнь, которое приходит к Зыбину при воспоминании о возвращении краба в родную стихию. А это происходит в конце второй части, в конце романной истории о крабах. Именно здесь Зыбин восходит к будущей победе, которая состоится позже, в пятой части, во время его обвинительной речи на допросе у лейтенанта Долдзе.

Так формируется империя, которой правит “краб-крабище – царь крабов”. Его подданные смиренны и покорны, лежат там, куда их положат, и даже цвет носят такой, в какой их покрасят. Среди них, однако, попадаются экземпляры, пугающие своими гигантскими размерами, шипами и зазубринами, нарушающие общую картину благопристойности и умиротворения – особая порода. Их невозможно выварить, раскрасить, превратить в безделушку, расставлять по своему усмотрению по комодам и письменным столам – они сопротивляются. Для борьбы с ними у монархов есть система мер и соответствующий “сор”, лишённый “естественного предела скотства”, призванный надзирать за чересчур бойкими клешнями, а при необходимости и карать. Образы-символы соединяются в единую систему, которая и сама приобретает символическое значение, отражая иерархию взаимоотношений в современном Домбровском обществе. Правда, в ней отсутствует одна фигура, играющая крайне важную роль в развитии основной сюжетной линии, – предатель. Чтобы понять её место, значение в романе, в жизни страны того времени, в истории человечества, необходимо обратиться к третьей части, прежде всего, к суду над Христом. Но это уже новая тема.



“Огневая крылатость” поэзии матери Марии

С творчеством Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (1881–1945), в монашестве матери Марии, нынешние читатели знакомы недостаточно глубоко, хотя многие её стихи опубликованы, выходили поэтические сборники, подборки в периодике; о духовном подвиге матери Марии много писали и пишут, рассуждают, спорят... Отношение к религиозной поэзии Кузьминой-Караваевой не всегда однозначно, нередко всплеск эмоций подменяет спокойный, взвешенный анализ. Объясняется это и тем, что к *такой* поэзии нынешние критики да и читатели ещё не привыкли, а в долгие годы усиленно насаждаемого атеизма философская и богословская лирика матери Марии вообще оставалась за “семью печатями”.

Мать Мария прожила недолгую, но богатую событиями жизнь, оборвавшуюся мученической гибелью в нацистском концлагере Равенсбрюке. Будущая поэтесса (прозаик, публицист) родилась в Риге в дворянской семье. Первые её стихи написаны в гимназические годы. Она обучалась на философском отделении Бестужевских курсов, самостоятельно штудировала богословие и в середине 1910-х годов экстерном сдавала экзамены профессорам Петербургской духовной академии. Она участвовала в “средах” Вяч. Иванова, входила в “Цех поэтов” Н. Гумилёва. В 1912 году вышел первый стихотворный сборник Кузьминой-Караваевой “Скифские черепки”. Сборник был замечен, на него откликнулись Николай Гумилёв, Александр Блок, Владислав Ходасевич и другие известные поэты и критики.

Впервые религиозные мотивы встречаются в стихах Кузьминой-Караваевой, написанных в 1913–1914 годах. Её поэтический сборник “Руфь” (1916) уже содержал мучительные раздумья и мрачные предчувствия приближающегося “конца” в период затянувшейся 1-й мировой войны. Стихи пронизаны религиозными исканиями, поисками личного духовного пути.

Покорно Божий путь приму,
Забыв о том, что завтра будет:
И по неспетому псалму
Господь нас милует и судит.

Грянула Февральская революция 1917 года, которую Кузьмина-Караваева встретила восторженно, вступив в партию эсеров. Затем Ок-

тябрьский переворот, и летом 1918 года она делегат 8-го съезда партии правых эсеров. Осенью того же года её арестовывают белогвардейцы за связь с большевиками, ей грозит суд и смертная казнь. В её защиту выступили А. Толстой, М. Волошин, В. Инбер, Н. Крандиевская и др. Их обращение к деникинским руководителям и заступничество казачьего деятеля и писателя Д.Е. Скобцева спасли жизнь Кузьминой-Караваевой.

С 1920 года Елизавета Юрьевна живёт в эмиграции, в Париже, где сближается с русскими философами Н.А. Бердяевым, Г.П. Федотовым, С.Н. Булгаковым, которого справедливо считала своим духовным отцом. В 1927 году вышла её книга “Жатва духа. Жития святых”, а затем монографии о Ф.М. Достоевском, Вл. Соловьёве и А.С. Хомякове. В марте 1932 года Кузьмина-Караваева приняла монашеский постриг и с ним – имя Мария, стала активно заниматься благотворительной деятельностью (устраивала общежития для бедных, дешёвые столовые, вела кружки). В своих стихах она признаётся, что испытывает “огневую крылатость”; дух её не знает покоя, ибо “пронзён оперённой огневою стрелою”.

Поэтесса не ропщет на тяжесть судьбы, поскольку судьба во многом сотворена ею же самой:

В этой жизни, дикой и короткой,
Падала я ниже всех
И со дна, с привычной преисподней,
Подгребая в свой костёр золу,
Я предвечной мудрости Господней
Возношу мою хвалу.

Ещё в 1934 году мать Мария предсказала, что её будущее – это “лишь горсть седого пепла”, что ей предстоит

Расстать как в воздухе птица,
Дымком над костром заструиться.

В годы 2-й мировой войны мать Мария становится участницей французского Сопротивления. В 1943 году она была арестована гестапо, а дальше – пересыльная тюрьма и концлагерь Равенсбрюк. После казни в газовой камере печь крематория. Так художественный образ оказался трагической реальностью.

В жизни мать Мария искала, по её же словам, “неудобного христианства”. Её кредо было предельно ясным: “Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет. На Страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят, накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключённого в темнице. И только это спросят”.

Вера матери Марии была искренней и глубокой, но не слепой. Она

принимала Бога, но не принимала несовершенство созданного им мира. И в повседневной жизни, и в творчестве она считала себя со-трудницей Бога, его посланницей. О сборнике 1937 года, навеянном “религиозным вдохновением”, критик К.В. Мочульский, хорошо знавший мать Марию по Парижу, так отзывался: это «стихи о мире... Но с мира снят тот “златотканый покров”, о котором писал Тютчев; никаких “описаний природы”, никаких “образов” и поэтических украшений, никакой отрады для чувств. Всё просто, сурово, скудно, всё – обнажено. Душе дана Богом “зрячесть”, и она должна видеть и мужественно свидетельствовать о виденном. Какая мука в этой зрячести! (...) Чувство неблагополучия мира, хаоса, “хляби водной”, “горести ада” в стихах монахини Марии выражено с дерзновением отчаянья. (...) И в этом “вихре”, в хаосе, во тьме блуждает нищая и слепая душа.

Господи, когда же выбирают муку?
Выбрала б быть может озеро в горах,
А не вьюгу, голод, смертную разлуку.
Вечный труд кровавый и кровавый страх.

Но это страх и труд перед пыткой жалостью. Не в жалости ли “по убогому в мире страданий” братьев по плоти тайна Голгофы? “Терпкой жалости”, “жалостью запойной” к “блудницам, разбойникам, мытарям”, к обречённым, погибающим в “разврате, нужде и злобе”, “среди заплёванных, проклятых мест”, материнской жалостью ко всем “нищим духом” пронзено сердце навсегда».

Творческое наследие матери Марии – редчайший пример сочетания высокой поэзии, философии, религии и истории. Её стихи не для лёгкого чтения “на ночь”. Это – серьёзная работа для сердца и ума, ведь при чтении лирики всегда требуется “короткое замыкание” душ читателя и автора.

В отзыве на книгу “Руфь” С. Городецкий писал: «Любители “легкого чтения”, иначе говоря – книгоглотатели, не берите этой книги. Но все, кого беспокоит, тревожит и волнует психическая жизнь современной женщины, заблудившейся в противоречиях между свободным чувством и лицемерным бытом, все, для кого жизнь человеческая не кончается с последним ударом молотка в последний гвоздь, забиваемый в крышку гроба, найдут в стихах “Руфи” немало откликов и отзвуков на свои думы» (Кавказское слово. Тифлис, 1917. 21 июля).

В предлагаемую читательскому вниманию поэтическую подборку включены стихи матери Марии, написанные в разные годы. Как правило, они не датированы и не имеют заглавий.

А.Н. Шустов
Санкт-Петербург



Стихи Е.Ю. Кузьминой-Караваевой

Мне кажется, что мир ещё в лесах,
На камень камень, известь, доски, щебень.
Ты строишь дом, Ты обращаешь прах
В единый мир, где будут петь молебен.

Растут медлительные купола ...
Неименуемый, нездешний, Некто,
Ты нам открыт лишь чрез Твои дела,
Открыт нам, как великий Архитектор.

На нерадивых Ты подьмешь бич,
Бросаешь их из жизни в сумрак ночи.
Возьми меня, я только Твой кирпич,
Строй из меня, непостижимый Зодчий.

Подвёл ко мне, сказал: усынови
Вот этих, – каждого в его заботе.
Пусть будут жить они в твоей крови, –
Кость от костей твоих и плоть от плоти.

Дарующий, смотри, я понесла
Их нежную потерянность и гордость,
Их язвинки и ранки без числа,
Упрямую ребяческую твёрдость.

О, Господи, не дай ещё блуждать
Им по путям, где смерть многообразна.
Ты дал мне право, – говорю, как мать,
И на себя приемлю их соблазны.

“И каждую косточку ломит,
И каждая мышца болит.
О, Боже, в земном Твоём доме
Даже и камень горит.

Пронзила великая жалость
Мою истомлённую плоть.
Все мы, – ничтожность и малость
Пред славой Твоею, Господь”.

Мне голос ответил: “Трущобы, –
Людского безумья печать,
Великой любовью попробуй
До славы небесной поднять”.

Убери меня с Твоей земли,
С этой пьяной, нищей и бездарной,
Боже Силы, больше не дремли,
Бей и бей и бей в набат пожарный.

Господи, зачем же нас в удел
Дьяволу оставить на расправу?
В тысячи людских щедедушных тел
Влить необоримую отраву?

И не знаю, – кто уж виноват,
Кто невинно терпит немощь плоти, –
Только мир Твой богозданный, – ад,
В язвах, в пьянстве, в нищете, в заботе.

Шар земной грехами раскалён,
Только гной и сгруппья, – плоть людская.
Не запомнишь списка всех имён,
Всех, лишённых радости и рая.

От любви и горя говорю, –
Иль пошли мне ангельские рати,
Или двери сердца затворю
Для отмеренной так скупой благодати.

Мы снискиваем питье и брашно
Заклятьем первородного греха.
Мы трудимся, мы утучняем пашню,
И нашу землю бороздит соха.

И оттрудившись тихо умираем.
Каким судом судить Ты будешь нас,
Стоящих перед сиянным раем,
Наш брат по плоти, вечный Бог и Спас?

Сын человеческий, Домостроитель,
В обширном доме своего Отца
Какую уготовишь нам обитель,
Какого удостоишь нас венца?

Как было легко грешить,
А плата сурова ныне.
Мне надо всю жизнь разрешить
В неугасимой святыне.

Грехов моих тёмный ларец,
Ларец, что сковала мне память,
Беру я в последний конец,
Беру я своими руками.

Течёт и уносит река.
Родным берегам – простите.
Пусть режет моя рука
Прошедшего крепкие нити.

Не то, что мир во зле лежит, не так, –
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Всё сумерки, а не огонь и мрак,
Всё дождичек – не грозовые тучи.

За первородный грех Ты покарал
Не ранами, не гибелью, не мукой, –
Ты просто нам всю правду показал
И всё пронзил тоской и скукой.

Не помню я часа Завета,
Не знаю Божественной Торы.
Но дал Ты мне зиму и лето,
И небо, и реки, и горы.

Не научил Ты молиться
По правилам и по законам, –
Поёт моё сердце, как птица,
Нерукотворным иконам.

Росе, и заре, и дороге,
Камням, человеку и зверю.
Прими. Справедливый и Строгий,
Одно моё слово: я верю.

Ни формулы, ни мера вещества,
И ни механика небесной сферы
Навек не уничтожат торжества
Без чисел, без механики, без меры.

Нет, мир, с тобой я говорю, сестра, –
И ты сестру свою с любовью слушай, –
Мы – искры от единого костра,
Мы – воедино слившиеся души.

О, мир, о, мой одноутробный брат, –
Нам вместе радостно под небом Божиим
Глядеть, как Мать воздвигла белый плат
Над нашим хаосом и бездорожьем.

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг – одет, и напьётся пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышащий весть.

От небесного грома до шёпота
Учит всё – до копейки отдай.
Грузом тяжким священного опыта
Переполнен мой дух через край.

И забыла я, – есть ли средь множества
То, что всем именуется – я.
Только крылья, любовь и убожество,
И биение всебытия.

Я высоко. Внизу тюки, бочёнки,
Лебёдок лязг и рёв морских сирен.
Преодолев на повороте крен,
Мой парусник скользит стрелой тонкой.

Волна темнозелёная. Вы, волны,
Вы – пашня трудная для рыбаков.
Стоит скала, стоит века веков
И тенью осеняет порт и чёлны.

Не знаю я, зачем я здесь сегодня,
Какую вновь должна прочесть скрижаль.
О, люди-братья, необъятна даль,
Непостижимо таинство Господне.

Ницца

Всё ещё думала я, что богата,
Думала я, что живому я мать.
Господи, Господи, близится плата
И до конца надо мне обнищать.

Земные надежды, порывы, восторги, –
Всё, чем питаюсь и чем я сыта,
Из утомлённого сердца исторгни,
Чтобы осталась одна маета.

И в покаяньи есть веселье, –
О, горькое. Как бы с вершин
Бросаешь камни в глубь ущелья
И остаётся дух один.

Из пропасти доходит глухо
Тревожный ропот в высоту,
Терзает обнаженье духа –
И чем прикроешь наготу?

Я верю, Господи, что если Ты зажжёт
Огонь в душе моей, то не погаснет пламя,
Что Ты не только там, но что и здесь Ты с нами,
В любви и творчестве наш христианский Бог.

И верую: придёт неизреченный свет
С востока в этот мир – воистину неложно –
И то, что кажется сегодня невозможно, –
Раскроется в труде несовершенных лет.

Тогда настанет день: на широту миров –
Во всём преодолев стихию разрушенья –
Творца мы прославлять восстанем из гробов,
Исполнив заповедь любви и воскрешенья.

И будет новый мир и в мире – Новый Град,
Где каждый светлый дом и в доме каждый камень
Тобою, Отче наш, преображённый Лад,
Воздвигнутый из тьмы сыновними руками.

Господи, Господи, Господи,
Ни о чём я просить не хочу.
Мне ли видеть оконные росписи
И собора чужого свечу?

Не хочу я ответом быть заданным,
Выше туч в небеса вырастать, –
Лишь куриться туманом и ладаном,
Лишь средь поля себя расплатать.

Оттого, что душа беспризорная,
Оттого не ко мне этот зов.
Боже, Господи, даль чудотворная,
Православная Церковь Соборная
Божьей Матери синий Покров.

Страсбург, 1931

Ночью камни не согреешь телом,
Не накликаешь скорей рассвет.
Господи, наверно в мире целом
Никого меня бездомней нет.

Жмётся по соседству кот бездомный, –
Будем вместе ночку коротать.
Мир ночной, – пустой, глухой, огромный,
Добрым надо двери запирасть.

Потому что нет иной защиты
Добрым, кроме крепкого ключа...
Холодеют каменные плиты,
Утро возвестил петух, крича.

Господи, детей растящий нищих,
Охраняющий зверей, траву,
Неужели же в земных жилищах
Тебе негде приклонить главу?

Если так, то буду я бродяга,
Пасынок среди родных сынов.
В подворотнях на ступеньках лягу
У дверей людских глухих домов.

Ницца, 1931

В людях любить всю ущербность их,
И припадать к их язвинке, к их ранке.
Как же любить Его, если Он тих,
Если Он пламенем веющий ангел?

Господи, Господи, я высоту, –
Даже Твою, – полюбить не умею.
Что мне добавить ещё в полноту?
Как Всеблаженного я пожалею?

Там лишь, где можно себя отдавать,
Там моя радость, – и в скорби, и в плаче.
Господи, Боже, прости меня, – я мать, –
И полюбить не умею иначе.



Об омонимии и смежных явлениях

С.В. ВОРОНИЧЕВ,
кандидат филологических наук

Как известно, омонимия – очень распространенное явление в современном русском языке, которое охватывает практически все его стороны: лексику, словообразование, грамматику. Но, как показывает практика преподавания русского языка в вузе, омонимичные морфемы или грамматические формы не вызывают при их лингвистическом анализе таких серьезных затруднений, какие возникают при дифференциации собственно лексической омонимии и смежных с нею явлений.

Нечеткость, двусмысленность существующих в современной лексикологии критериев при разграничении таких понятий, как *собственно лексический омоним* (полный или неполный), *омоформа*, *омофон*, *омограф*, находят отражение в лексикографических изданиях, что иногда “ставит в тупик” студентов и преподавателей. Например, в повторно изданном в 1978 г. “Словаре омонимов русского языка” Н.П. Колесникова, содержащем около 3500 словарных статей, такое количество омонимических гнезд обусловлено в первую очередь тем, что многие включенные в справочник слова представляют собой не собственно лексические омонимы, а смежные с омонимией явления. Уже аннотация к словарю указывает на нечеткость выдвинутых критериев омонимичности: “Словарь омонимов состоит из слов, имеющих одинаковое написание (и большей частью – одинаковое произношение), но разное лексическое значение”.

Такой подход не позволяет отграничить лексическую омонимию от смежных явлений – омографии или омоформии. О сознательном введении в словник омографов свидетельствуют их акцентологические пометы. Таким образом, например, из четырех слов, вошедших в омонимическое гнездо *коса*, только два являются полными лексическими омонимами: *коса* (с.-х. орудие) и *коса* (отмель, мыс), так как совпадают в звучании и написании во всех грамматических формах. Омоним *коса* в значении “заплетенные волосы” уже не является абсолютно полным по отношению к двум другим, так как в винительном падеже единст-

венного числа строгая литературная норма произношения этого слова иная: *косу*, а в противопоставляемых значениях – *косу́* (см. “Орфоэпический словарь русского языка” под ред. Р.И. Аванесова). Наконец, четвертое слово *коса* в значении “народность, населяющая восточную часть Капской провинции Южно-Африканского Союза...” является лексическим омографом по отношению к трем рассмотренным нами омонимичным значениям. Вместе с тем не совсем ясно, на каком основании включены в этот словарь такие пары, как *лихо* (существительное), *лихо* (наречие или категория состояния); по-разному звучащие: *лен* (административная единица в Швейцарии и другие значения), *лён* (травянистое растение); *лётка* (отверстие в доменной печи), *летка* (веселый групповой финский танец); наречия *летом* и *лётном*, существительные *надеж* и *падёж* (скота); *подать* (существительное), *подать* (глагол) и многие другие гнезда слов, не являющихся собственно лексическими омонимами. Небезупречен в этом отношении и “Словарь омонимов русского языка” под ред. О.С. Ахмановой.

Чтобы глубже проникнуть в суть рассматриваемой проблемы, обратимся к истокам ее возникновения в русистике. Впервые наиболее остро ее обозначил В.В. Виноградов в статье “Об омонимии и смежных явлениях” (1960), хотя вопросами омонимии занимались и многие авторитетные его предшественники и современники: И.Ф. Калайдович, В.И. Шерцль, Л.В. Щерба, Л.А. Булаховский, Д.Н. Ушаков, С.И. Ожегов, А.И. Смирницкий, О.С. Ахманова и другие. Однако В.В. Виноградов первым обратил внимание на то, что “... критерии разграничения разных типов омонимов до сих пор остаются совершенно невыясненными” (Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. М., 1975. С. 296). И далее, говоря о необходимости разграничения омофонии как более широкого языкового понятия и лексической омонимии, выдвигает главный дифференциальный критерий: “Термин *омонимия* следует применять к разным словарям, к разным лексическим единицам, совпадающим по языковой структуре во всех формах” (с. 297). Такой подход позволяет четко определить языковой статус полных лексических омонимов, отграничив их как от неполных омонимов, совпадающих в ряде грамматических форм, так и от различных смежных явлений, то есть слов, совпадающих в звучании и написании (или только в написании, или только в звучании) лишь в отдельных грамматических формах.

Омонимы, определяет вслед за В.В. Виноградовым Н.М. Шанский, это “слова, одинаково звучащие, но имеющие совершенно различные, не выводимые сейчас одно из другого значения, которые совпадают между собой как в звучании, так и на письме во всех (или в ряде) им присущих грамматических формах. Омонимы, следовательно, представляют собой слова одного грамматического класса” (Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М., 1972. С. 43). В целом, правильное определение все же, на наш взгляд, несколько витиевато (например, в нем с целью пояснения повторяется одна и та же мысль:

“слова, одинаково звучащие” и “совпадают между собой как в звучании...”), что обусловлено общим недостатком при определении лексических омонимов, о котором уже говорилось, – нечеткостью, некоторой смешанностью критериев их выявления в языке.

Д.Н. Шмелев при определении лексических омонимов концентрирует внимание на семантическом аспекте: “Омонимы – это слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по своей форме, но значения которых никак не связаны друг с другом, то есть не содержат никаких общих элементов смысла, никаких общих семантических признаков” (Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977. С. 77–78). И эта формулировка имеет некоторую недосказанность, так как ей соответствуют не только лексические омонимы, но и омофоны, например, такие, как *компания* – *кампания*, *развиваться* – *развеваться* и др. Не совсем ясно, какой смысл вкладывает автор в слово *форма*: имеет ли он в виду только грамматическую форму или вместе с тем еще и графическую оформленность лексических единиц. Наибольшей простотой и четкостью отличается, на наш взгляд, определение омонимов, данное М.И. Фоминой: “Лексическими омонимами... называются два или более разных по значению слова, совпадающие в написании, произношении и грамматическом оформлении” (Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. М., 1990. С. 68). Но и в этой трактовке ее часть “в грамматическом оформлении” все же нуждается в уточнении и конкретизации.

Не полемизируя ни с кем из процитированных лексикологов и ни в коей мере не опровергая их взглядов на исследуемую проблему, а, напротив, основываясь на их теоретических положениях, попробуем сформулировать основные критерии определения лексических омонимов. Итак, полные лексические омонимы – это слова:

- 1) одной части речи;
- 2) совпадающие во всех грамматических формах в звучании;
- 3) совпадающие во всех грамматических формах в написании;
- 4) совершенно разные по значению.

Таким образом, несоответствие лексической единицы хотя бы одному из выдвинутых требований позволяет исключить данное слово из круга имеющих в языке полных собственно лексических омонимов и причислить его к неполным омонимам или какому-либо смежному явлению.

Например, если слова не полностью отвечают второму или третьему требованию, то есть совпадают в звучании и написании не во всех грамматических формах, то это неполные омонимы, которые, на наш взгляд, должны иметь в словарях омонимов обязательную помету, так как при их сопоставлении мы имеем дело лишь с частичной омонимией, а ее необходимо четко отделять от полной лексической омонимии.

В научной литературе часто приводятся примеры неполных омони-

мов с несовпадением форм единственного и множественного числа, например: *лук* (оружие) – *лук* (растение); *рысь* (животное) – *рысь* (бег лошади); *завод* (производственное предприятие) – *завод* (процесс) и т.п. В приведенных примерах неполных омонимов второе слово в каждой паре не имеет форм множественного числа. Неполными лексическими омонимами являются слова в глагольной паре *везти* (перемещать, доставлять) – *везти* (об удаче в делах), так как слово во втором омонимичном значении имеет лишь одну безличную форму – *везет*. К неполным лексическим омонимам правомерно отнести и те случаи, когда слова не совпадают лишь в одной нормативной форме, как, например, *коса* (заплетенные волосы) в сопоставлении с *коса* (с.-х. орудие) и с *кося* (отмель, мыс), так как слово *коса* в первом омонимичном значении (заплетенные волосы) имеет отличную от противопоставляемых значений акцентологическую норму в винительном падеже единственного числа – *косу*. Сравните: такую же орфоэпическую норму имеет слово *среда* (день недели) в винительном падеже единственного числа (*сре́ду*), противопоставленную омонимичному слову *среда* в трех ЛСВ (лексико-семантических вариантах) с общим значением “окружение”, также имеющему в винительном падеже единственного числа иное ударение (*сре́дѹ*), что не позволяет считать эти слова полными лексическими омонимами.

Возникает закономерный вопрос: следует ли считать неполными лексическими омонимами слова одной части речи, совпадающие в звучании и написании лишь в одной начальной форме, – например, существительные *посол* (от *посолить*) и *посол* (от *послать*), *лев* (животное) и *лев* (болгарская денежная единица) и т.п.? На этот вопрос отвечает в своей статье В.В. Виноградов: «...едва ли целесообразно относить к фактам омонимии, хотя бы и частичной, совпадения разных слов в так называемых “основных” формах, т.е. в тех, в которых соответствующие слова помещаются в словарях (общий или им. падеж, инфинитив и т.п.)», и далее В.В. Виноградов ссылается на А.И. Смирницкого, считающего, что начальная форма только “оказывается по существу наиболее подходящим представителем всего слова как такового”. Таким образом, это явление правомернее рассматривать как особый тип лексической омоформии. Тем более к омоформии нужно отнести совпадение начальных форм разных частей речи, например: *пасть*, *печь*, *знать*, *течь* (глаголы – существительные) и т.п. или совпадение слов одной части речи лишь в одной неначальной форме, например: *лечу* – от *лечить* и от *лететь*; *вожу* – от *возить* и от *водить* (подробнее о неполной омонимии – см. ту же статью В.В. Виноградова. С. 306–311).

Если данное слово не соответствует первому и четвертому критериям, то мы имеем дело с синтаксической омонимией, т.е. полным совпадением в звучании и написании форм у слов разных частей речи, лексико-семантический класс которых обусловлен их синтаксической функ-

цией, например: “Собеседник *холодно* посмотрел на меня” (наречие) и “На улице *холодно*” (слово категории состояния). Эти слова разных частей речи будут совпадать фонетически и графически и в компаративе. Сравните: “Собеседник посмотрел на меня еще *холоднее*” и “На улице стало еще *холоднее*”. Но совпадение этих форм двух синтаксических омонимов с третьим – краткой формой среднего рода прилагательного *холодный* и его компаративом – уже не может считаться полной синтаксической омонимией, так как прилагательное отличается большим разнообразием форм.

Если слово не соответствует третьему критерию, то перед нами – лексический омофон, например: *копчик* – *кобчик*, *бачок* – *бочок*, *компания* – *кампания*, *ватный* – *ватный* и т.п. (эти слова совпадают в звучании во всех грамматических формах). Но большинство традиционно относимых к омофонам слов совпадают в звучании в ряде форм – как, например, *мяча* – *меча* (не совпадает лишь И.–В. падеж ед.ч.), или только в отдельных формах: *луг* – *лук*, *плот* – *плод*, *грипп* – *гриб*, *кот* – *код* и т.п. (совпадают лишь начальные формы слов). Такое распространенное явление следует расценивать как неполную лексическую омофонию. Неполными омофонами следует признать глагольные пары *сидеть* – *седеть*, *лежи* – *лижи* и т.п., у которых при совпадении лишь одной формы существует различие в произношении предупредительно-гласного, отраженное в правилах фонетической транскрипции – с[‘и]деть, но с[‘и^э]деть, что приближает их уже к паронимам (неоднокоренным созвучным словам).

Существуют и омофоничные слова, занимающие промежуточное положение между полной и неполной омофонией. Например, в глагольной паре *поласкать* – *полоскать* глагол *полоскать* имеет литературную норму произношения своих форм: *полощу*, *полощут*, *полощи* и т.д., хотя допустимы в рамках литературно-разговорного стиля варианты: *полоскаю*, *полоскают*, *полоскай*. В паре *писец* (от *пишет*) – *песец* (животное) при полном совпадении форм словоизменения гласные предупредительно-слога, как уже отмечалось, не совпадают полностью артикулярно (п[‘и]сец, но п[‘и^э]сец). В паре *костный* – *косный* первое прилагательное, будучи относительным, не имеет краткой формы и других признаков качественного прилагательного *косный*. В глагольной паре *запевать* – *запивать* и подобных помимо того же различия в произношении гласного в первой позиции не совпадают соотносительные формы совершенного вида (*запеть* – *запить*), а в паре *развиваться* – *развеваться* у второго глагола отсутствуют формы совершенного вида.

Нередко совпадают в звучании различные формы слов одной части речи (несоответствие третьему и неполное соответствие второму критериям омонимичности). Такие факты языка следует расценивать как лексико-грамматические омофоны. В эту группу входят омофоничные

пары: *веко* (глазное) – *века* (р.п. ед. ч. от *век* – столетие), *Баку* – *боку* (п.п. ед. ч.), *лево* (левая сторона) – *лева* (р.п. ед.ч.; болгарская денежная единица) и т.п.

Однако наиболее часто встречаются в языке омофоничные слова разных частей речи, т.е. несоответствующие первому и третьему критериям истинной омонимии. Их также следует считать лексико-грамматическими омофонами. Сюда входят пары омофонов: *резка* (отглагольное существительное) – *резко* (наречие или краткое прилагательное ср.р.), *зыбка* (простореч.; колыбель, люлька) – *zybko* (наречие или краткое прилагательное ср.р.), *ломка* (отглагольное существительное) – *ломко* (наречие или краткое прилагательное ср. р.) и т.п., омофоничные пары глаголов и существительных отглагольного происхождения: *жала* (глагол) – *жало* (сущ.) и по аналогии: *мыла* – *мыло*, *шила* – *шило*, *точила* – *точило*, *грузила* – *грузило*; *дула* – *дуло* и т.п. Омофонию с некоторыми существительными у ряда глаголов создает произношение [ц] на месте буквосочетания *тс* в инфинитиве или третьем лице при взаимодействии постфикса *-ся* с формообразующим суффиксом *-ть* или с окончанием третьего лица, например: *братца* – *браться*, *спица* – *спится*, *лица* – *лится* и т.п.

Омофоничные гнезда могут состоять не только из двух слов, но и из трех, например: *аз* (название буквы) – *ас* (мастер высшей квалификации) – *асс* (древнеримская денежная единица); *наз* (отверстие) – *нас* (передача мяча партнеру) – *насс* (движение руки гипнотизера); *труб* (р. п. мн. ч.) – *труп* (мертвец) – *трупп* (р. п. мн. ч. от *труппа* – коллектив актеров) и др.

Сложнее обстоит дело со звуковым совпадением различных отрезков речи. Можно ли, например, считать омофонами такие рифмующиеся “каламбурные” синтаксические единицы, используемые в стилистических целях в художественной речи: *скалам бурым* – *с каламбуром*, *тоскуя* – *тоску я, не вы, но Сима* – *невыносимо*, *сутками* – *с утками*, *сухой* – *с ухой* и т.п. Очевидно, при отнесении или неотнесении к омофонам подобных сходных по звуковому облику речевых цепей следует руководствоваться фонетическими и лексическими критериями, т.е. определить, представляют ли собой сопоставляемые отрезки речи равные или различные фонетические единицы и обладает ли каждая из них самостоятельным лексическим значением. Если да, то их следует считать омофонами, если нет, то не следует. В связи с этим из приведенных примеров только пары: *сутками* – *с утками*, *сухой* – *с ухой* можно признать омофоничными, так как каждый из анализируемых отрезков речи является одной сегментной единицей – одним фонетическим словом, которое имеет (и при проклитическом включении в него служебной части речи) одно ударение – на том же слоге, что и у сопоставляемого звукового комплекса, – и одно лексическое значение. Совпадение в звучании других отрезков речи целесообразнее считать ка-

ламбуром, игрой слов и отличать от различных видов лексической омофонии.

При полном несоответствии слова второму критерию омонимичности и вместе с тем возможным несоответствии первому критерию (т.е. при совпадении в написании всех или отдельных форм одной или разных частей речи), оно классифицируется как омограф. Явление омографии, охватывающее около тысячи пар слов в современном русском языке, является сегодня наиболее изученным в сравнении с другими смежными явлениями. Лексикологи выделяют различные типы омографов. Особенно многочисленны омографы лексические, совпадающие в написании в одной и той же форме: *атлас – атлс, стрёлки – стрелкí, мука – мукá, замо́к – замóк, козлы – козлы́*, – которые можно разделить на полные и неполные. Из приведенных примеров полными лексическими омографами, т.е. совпадающими во всех грамматических формах, можно считать лишь пару *замо́к – замóк*. Сюда же следует включить пары: *жа́ление* (от *жалить*) – *жа́ле-ние* (от *жалеть*), *по́рок* (устар., таран, стенобитное орудие) – *по́ро́к* (изъян), *про́волочка* (от проволока) – *проволо́чка* (задержка), *ту́пик* (птица) – *тупи́к* (не имеющие сквозного прохода улица, переулок), *тру́ситься* (бояться) – *трусíть* (бежать мелкой рысью), *па́рить* – *парíть* и др.

Различают также омографы грамматические, которые не представляют интереса для лексикологии (при совпадении в написании разных форм одного слова): *до́ма* (р. п. ед. ч.) – *дома́* (им.–вин. п. мн.ч.), по аналогии: *води́* – *води́*, *бе́ды* – *бе́ды*, *травы́* – *тра́вы*, *а́дреса* – *адреса́* и т.п., лексико-грамматические (при совпадении отдельных неодинаковых форм омонимичных по значению слов одной части речи, например: *во́рот* – *воро́т*, *у́ха* – *уха́* (рыбий суп), или разных частей речи, например: *се́ла* – *се́ла*, *бе́гу* – *бегу́* – ср.: *бе́регу* – *берегу́*, *мою́* – *мою́*, *доро́га* – *дорога́*, *соро́ка* – *сорока́*, *по́том* – *потом́* и т.п., стилистические (при наличии произносительных стилистических вариантов слов с нормативным акцентом – например, профессионально-жаргонных): *ко́мпас* – *компа́с* (морской жаргон), *и́скра* – *искра́* (шоферский жаргон), *шпри́цы* – *шприцы́* (жаргон медработников) и т.п.

Наконец, если анализируемые слова при их соответствии или несоответствии первому критерию омонимичности не полностью соответствуют второму и третьему, то есть, принадлежа к одной части речи или к разным частям речи, совпадают в звучании и написании лишь в отдельных неравнозначных грамматических формах, то это – омоформы. В отличие от омофонов или омографов омоформы не могут быть полными или неполными, так как совпадают лишь в какой-либо одной грамматической форме; тем не менее по аналогии с другими смежными явлениями омоформы можно разделить на слова одной части речи и разных частей речи.

При этом омоформы одной части речи могут иметь одинаковый звуковой и грамматический облик не только в какой-либо одной грамматической форме, как, например, пары омоформ: *рот* (очертание и разрез губ) – *рот* (р. п. мн. числа от *рота* “воинское подразделение”), *век* (столетие) – *век* (р. п. ед. ч. от *веко* “подвижный кожный покров глазного яблока”), *пара* (двое) – *пара* (р. п. ед. ч. от *пар* “газообразное состояние жидкости”) и другие значения), *донья* (мн. ч. от *дно*) – *донья* (испанская госпожа) и т.п., но и способны внешне совпадать в целом ряде форм, например, в омоформических гнездах: *суда* (р. п. ед. ч. от *суд* в значении “государственный орган...” и др. значениях) – *суда* (им. – в. п. мн. ч. от *судно* – корабль), *банка* (сосуд) – *банка* (р.п. ед. ч. от *банк* “финансовое учреждение”) и т.п.

Вместе с тем мы чаще встречаемся с омоформией разных частей речи. Примеров тому очень много: *дам* (глагол) – *дам* (сущ. р. п. мн. ч.), *мой, лай, три* (повелительное наклонение глагола) – *мой* (мест.), *лай* (отглагол. сущ.), *три* (числительное); *сев, подрыв* (деепричастия) – *сев, подрыв* (существительные); *стекла* (р.п. ед.ч. существительного), *пила* (им. п. ед. ч. существительного) – *стекла, пила* (глаголы в прошедшем времени ж.р.). Д.Н. Шмелев, исследуя омоформию, отмечает в монографии “Современный русский язык. Лексика”: “...омоформы в определенной своей части отражают собственно семантические процессы, как происходившие в языке глубокой древности, так и происходящие в настоящее время. Так, некоторая часть издавна существующих в языке омоформ объясняется так называемой конверсией, которая заключается в том, что слово одной части речи начинает употребляться в функции другой части речи, следуя при этом и словоизменительным особенностям последней”. И далее Д.Н. Шмелев применительно к синхронному состоянию языка приводит примеры омоформ, возникших в результате такой конверсии: *знать, стать, мочь, сечь, течь, печь* (глагольный инфинитив-существительное). Эти примеры можно дополнить и такими омоформами, как *точила, грузила, мыла, шила, стекла* (глагол – р. п. ед. ч. существительного), также возникшими в результате конверсии.

К сказанному об омоформии нужно добавить, что омоформические гнезда, как и омофонические, могут состоять и более чем из двух слов, например: *спор* (полемика) – *спор* (р. п. мн. ч. от *спора*) – *спор* (кр. ф. м. р. прилагательного *спорый*); *слив* (р. п. мн. ч. существительного *слива*) – *слив* (отглагольное существительное) – *слив* (деепричастие) и т.п.

В разговорной речи омоформы и другие смежные явления, способные вызвать недоумение, сталкиваются довольно редко; чаще мы встречаемся с намеренным обыгрыванием подобных явлений. Например, в загадке: “Три теленка – сколько ног?” (ответ: “Сколько не *три* – останется четыре”) обыгрываются омоформы: *три* (глагол) и *три* (числительное); в каламбурном двустушии: «По стене, где написано “Резка стек-

ла”, / Капля дождика в лужицу *резко стекла*» мы также наблюдаем намеренное столкновение лексико-грамматических омофонов (*резка – резко*) и омоформ: *стекла* (глагол) и *стекла* (р. п. ед. ч. существительного).

Классификационные границы между смежными с омонимией явлениями весьма условны, и определение того или иного факта языка всецело зависит от конкретной формы данного слова, в которой оно выступает при сопоставлении со словоформой другой лексической единицы. В связи с этим одно и то же слово в зависимости от его конкретного фонетико-графического и грамматического оформления может вступать в омофонические, омографические или омоформические отношения с другим словом. Например, слово *сыр* (молочный продукт) в сопоставлении с *сыр* (краткая форма м. р. от *сырой*) является омоформой, в форме родительного падежа единственного числа (*сыра*) оно в сопоставлении с *сыро* (краткой формой среднего рода того же прилагательного) становится лексико-грамматическим омофоном, а в сопоставлении с тем же прилагательным в краткой форме женского рода (*сыра*) выступает уже как лексико-грамматический омограф. И таких примеров различных периферийных с омонимией отношений, в которые способны вступать одни и те же слова, в русском языке немало.

Выдвижение иных критериев полной лексической омонимии представляется излишним и нецелесообразным.

Итак, полные собственно лексические омонимы – это слова одной части речи, совпадающие в звучании и написании во всех грамматических формах, но совершенно разные по значению. И если анализируемое слово полностью или частично не соответствует хотя бы одному из данных критериев, то оно находится за чертой полной лексической омонимии и относится к неполным омонимам или к одному из смежных явлений, различные типы которых следует четко разграничивать, последовательно и комплексно применяя при их определении все перечисленные требования.

Принципы разграничения различных лексических групп требуют более тщательной разработки, результатом которой могло бы стать создание отдельных справочных словарей омофонов, омографов, омоформ, однокоренных синонимов, паронимов и т.д., что позволило бы избежать многих ошибок при точном установлении того или иного лексического факта в современном русском языке.

Годовой или годичный?

В.И. КРАСНЫХ,
кандидат филологических наук

Рассмотрим соотношение между компонентами паронимического ряда *годи́чный* – *годова́лый* – *годо́вой*. К этим паронимам примыкает по своему значению и прилагательное *ежего́дный*.

Употребление прилагательных *годова́лый* и *ежего́дный* не вызывает, как нам кажется, каких-либо серьезных затруднений. Все толковые словари определяют основное значение слова *годова́лый* как “в возрасте одного года”. Естественно, *годова́лый* в этом значении относится почти исключительно к одушевленным существительным – детям и детенышам животных: *ребенок, младенец, малыш, мальчик, девочка, щенок, котенок, теленок, телка, жеребенок, тигренок, львенок* и т.д. Из неодушевленных существительных *годова́лый* может сочетаться со словом *возраст* (в *годовалом* *возрасте*). Приведем примеры: “У *годова́лой* *девочки* на голове была ярко-розовая соломенная шляпка” (П. Дашкова. Никто не заплачет); “В *годовалом* *возрасте* Мария переболела полиомиелитом...” (Профиль. 1999. № 1).

Кроме того, некоторые словари отмечают еще и дополнительный оттенок указанного значения – “пролежавший один год” (например, *сено, солома*), но этот оттенок значения не является актуальным для большинства носителей языка, поэтому, очевидно, и не выделяется в толковом словаре С.И. Ожегова.

Однозначно толкуется в словарях и слово *ежего́дный*: “бывающий каждый год, раз в году”. Это прилагательное легко сочетается со многими существительными и словосочетаниями: *отчет, проверка, ревизия; отпуск, отдых, поездка; фестиваль, конкурс, празднование; научная конференция, симпозиум; турнир, первенство, чемпионат по чему-л.; гонки, скачки, ралли; вакцинация, диспансеризация, медицинский осмотр; вступительные экзамены, день открытых дверей* и т.д.

Значительно сложнее обстоит дело с паронимами *годо́вой* и *годи́чный*, которые не представлены в виде отдельных словарных статей в однотомах толковых словарях, а толкования в БАС и МАС частично уже устарели и нуждаются в уточнениях.

Пароним *годо́вой* имеет следующее основное значение: “получающийся к концу года, в итоге за год”. В этом значении прилагательное

годовой употребляется в качестве определения с такими существительными, как: *доход, прибыль, дивиденды, проценты (по вкладам), зарплата, жалованье, стоимость чего-л., арендная плата за что-л., расходы, убытки, квартплата, отчет, собрание кого-чего-л. (напр., акционеров, членов кооператива, Общества филателистов), пробег (автомобиля), оценка (в учебном заведении), прирост (населения, поголовья скота), потребление чего-л. (напр., газа, электроэнергии), экспорт чего-л., импорт чего-л., смертность, подшивка (газет), комплект чего-л. и некоторые другие. Проиллюстрируем сказанное:*

“Если разделить величину *годовой прибыли* банка на величину его уставного фонда, то можно получить представление об эффективности работы” (Известия. 1994. 2 июля); «Точные сведения о нынешнем обороте “Роствертола” появятся только к лету 1999 г., когда состоится *годовое собрание* акционеров» (Профиль. 1999. № 1); “За эту работу нам должны были поставить итоговую *годовую оценку по режиссуре*” (Э. Рязанов. Заэкранье); “— Возьми *годовые подшивки* газет и проследи развитие любого скандала” (А. Маринина. Я умер вчера).

В толковых словарях БАС и МАС выделяется также следующий оттенок указанного значения; “Рассчитанный на один год”. В этом случае используются такие существительные: *запас чего-л., план, задание, программа чего-л., потребность в чем-л., обслуживание* и некоторые другие. Приведем примеры:

“В ванной, в специальном ящике, хранился *годовой запас* мыла, зубной пасты, стиральных порошков и прочих гигиенических средств” (П. Дашкова. Никто не заплачет); “Альтернативой прямому договору на *годовое обслуживание* являются многочисленные программы на строго оговоренный срок” (Профиль. 1999. № 3).

Что же касается паронима *годовой*, то толковые словари формулируют его основное значение так: “Продолжающийся, длящийся в течение года”. В отличие от прилагательного *годовой* с прилагательным *годовой* в этом значении сочетаются следующие существительные: *отсутствие, пребывание, жизнь, отпуск, испытательный срок, курс чего-л. (обучения, лекций, лечения), курсы повышения квалификации, стажировка, аспирантура, интернатура, ординатура, командировка, цикл чего-л., траур* и некоторые другие. Приведем ряд примеров: “Мы тронулись в путь, и *годовое житье* на прочной земле показалось коротким обманчивым сном” (Ю. Нагибин. Трубка); “После *годового испытательного срока* театр имел право либо отчислить меня из молодежной группы, либо перевести в основную группу солисткой” (Г. Вишневская. Галина); “После *годового отсутствия* он (И.А. Крылов) сделал еще одну попытку вернуться в столицу” (Вс. Рождественский. В созвездии Пушкина).

В БАС и МАС указывается и второе значение паронима *годовой*: “происходящий, бывающий один раз в год, ежегодно”. Однако в целом

это значение, по нашему мнению, уже устарело. Из приведенных в этих словарях речений (*годовое собрание Академии наук, годовичные слои дерева, годовичный праздник, годовичный гимназический акт*) в настоящее время употребляются лишь два первых. Других же случаев употребления слова *годовичный* в этом значении нами не отмечено.

“Годичное собрание Академии наук” (теперь – РАН), употребляемое по многолетней традиции, стало своего рода клише и обозначает такое ежегодное собрание членов Академии наук, на котором после отчетного доклада президента Академии обсуждаются итоги работы Академии за год. В других же аналогичных случаях, когда речь идет о подведении итогов работы за год (например, в акционерных и др. обществах, кооперативах, научных учреждениях), обычно употребляется прилагательное *годовой*. Если же акцент на подведение итогов работы не делается, а имеется в виду лишь регулярность какого-либо события или мероприятия (раз в году), то в этих случаях следует употреблять прилагательные *ежегодный*: *ежегодный фестиваль, ежегодная ярмарка, ежегодное первенство по какому-л. виду спорта*.

Резюмируя сказанное, мы хотели бы еще раз кратко сформулировать основные, актуальные для нашего времени значения анализируемых прилагательных:

1. *Годовальный*: “В возрасте одного года” (*младенец, ребенок, щенок*).
2. *Ежегодный*: “Бывающий каждый год, раз в году” (*фестиваль, конференция, турнир, ярмарка, отпуск, отчет, вакцинация* и мн. др.).
3. *Годовой*: “Получающийся к концу года, в итоге за год; рассчитанный на год” (*доход, прибыль, убытки, расходы, собрание, оценка, подшивка; запас чего-л., задание* и др.).
4. *Годичный*: “Продолжающийся, длящийся в течение года” (*курс чего-л., аспирантура, стажировка, командировка, цикл чего-л. и т.п.*).

Из архива ученого



СПИД и ВИЧ

*В.М. ДЕРИБАС,
кандидат филологических наук*

Аббревиатуры *СПИД* и *ВИЧ* появились в русской терминологической лексике в 1980-е годы практически одновременно. Оба эти слова представляют собой словообразовательные кальки английских медицинских терминов, где они также имеют полную и сокращенную формы наименования: *СПИД* (синдром приобретённого иммунного дефицита) и англ. AIDS (Acquired immune deficiency syndrom), *ВИЧ* (вирус иммунодефицита человека) и англ. HIV (Human immunodeficiency virus). Таким образом, обе кальки воспроизводят строение иноязычных слов с учетом особенностей русского языка.

Аббревиатуры *СПИД* и *ВИЧ* практически с самого начала использовались не только в специальной научной литературе, но и в языке газет и других средств массовой информации, например: “В 1986 г. Комитет по таксономии и номенклатуре вирусов предложил дать возбудителю СПИДа новое название – *ВИЧ* (вирус иммунодефицита человека)” (Шевелев А.С. *СПИД – загадка века*. М., 1988). Отметим, что слово *СПИД* получило широкое распространение. Оно уже зафиксировано в “Словаре русского языка” С.И. Ожегова (22-е изд., М., 1990. С. 920) и включено в “Новый словарь сокращений русского языка” (М., 1995 г.).

Новизна этой звуковой аббревиатуры ощутима, что и подчеркивается в словаре, в частности, указанием на ее произношение: *СПИД* [спид], которым обычно снабжаются лишь буквенные сокращения. В то же время аббревиатура *СПИД* по своей номинации практически не сохранила ясности внутренней формы, в силу чего носителями языка она воспринимается как общее название опасной заразной болезни, и лишь специалисты-медики и те, кому известен способ образования сокращенного наименования, могут свободно расшифровать его. Другой же специальный термин *ВИЧ* остается пока за пределами общего употребления и используется преимущественно в специальной литературе.

Аббревиатуры *СПИД* и *ВИЧ*, у которых внешняя звуковая форма соответствует грамматическому роду стержневого слова сокращения (*синдром*, *вирус*), относятся к словам мужского рода. Поэтому сказуемое, выраженное глагольной формой прошедшего времени, согласуется с подлежащим, выраженным данными сокращениями, в мужском роде, например: “СПИД, подобно пожару, охватил сейчас почти все страны мира” (А. Шевелев). Слово *СПИД* имеет форму только единственного числа, слово же *ВИЧ* способно выражать и значение множественного числа, например: “ВИЧ размножились также в макрофагах – больших клетках, способных поглощать и переваривать не только микробов, но и погибшие клетки организма” (А. Шевелев).

Слово *СПИД* первоначально употреблялось как несклоняемое, в дальнейшем же оно стало свободно изменяться по падежам. Приведем примеры такого использования этого сокращения из книги А.С. Шевелева “СПИД – загадка века”: “Война со СПИДом ведется с нарастающими усилиями на всех континентах”; “Ежемесячно в мировой научной прессе появляются новые сведения о СПИДе”; “Проблема СПИДа – это не только медицинская, но и социальная”.

Лексическая сочетаемость с аббревиатурой *СПИД* в разных падежных формах расширяется: *эпидемия СПИДа*, *вакцина против СПИДа*, *борьба со СПИДом (против СПИДа)*; *конференция (информация, семинар) по СПИДу*, *специалист по СПИДу* и др. В начале предложения слово *СПИД* может употребляться и как свободная словоформа: “У СПИДа длительный латентный период” (телепередача 1998 г.). В официальных документах и в ряде научных работ слово *СПИД* продолжает употребляться и в неизменяемой форме, например: «Издан указ “О мерах профилактики заражения вирусом СПИД”» (Известия. 1987 г. 25 авг.). Однако в последнее время наметилась явная тенденция употреблять для обозначения возбудителя СПИДа сложные слова с аббревиатурой *ВИЧ*. Например: «В стране действует... федеральный закон “О предупреждении распространения ВИЧ – инфекции в РФ”, принятый в 1995 году... Общественные организации ВИЧ-инфицированных намерены добиться в парламенте отмены ст. 122 Уголовного кодекса» (Общая газета. 1998. 3–9 дек.).

Как видно из приведённых примеров, аббревиатура *ВИЧ* может входить как словообразовательный элемент в состав сложных слов, обозначающих специальные медицинские понятия: *ВИЧ-инфекция*, *ВИЧ-инфицированный*, *ВИЧ-носитель*; *ВИЧ-“положительный”*, *ВИЧ-“отрицательный”*. Поскольку аббревиатура *ВИЧ* расшифровывается как *вирус иммунодефицита человека*, то в семантике данных терминов отражается констатация, наличие определенного вида вирусной инфекции (*ВИЧ-инфекция*) или ее отсутствие (*ВИЧ-“отрицательный”*).

Падежные формы, указывающие на различные отношения между словами у названных терминов, в состав которых входит словообразовательная основа *ВИЧ*, передаются с помощью второй изменяемой части слова, например: “Растет распространение *ВИЧ-инфекции*. Каждую минуту *ВИЧ-инфекцией* заражается 5 человек в возрасте от 5 до 24 лет. У *ВИЧ-носителей* рождаются дети” (Общая газета. 1998. 3–9 дек.). Основа *ВИЧ* в этих терминах лишь лексически определяет, конкретизирует вторую часть сложного слова, обозначая название вируса.

Отдельно взятое сокращение *ВИЧ* по-прежнему остается несклоняемым, например: “Эксперты считают, что сейчас насчитывается от 5 до 10 млн. человек, зараженных *ВИЧ*”; “Правоохранительные органы сегодня выбирают самый легкий путь в борьбе с *ВИЧ* – судебные преследования” (Общая газета. 1998. 3–9 дек.). Нам встретился лишь один пример слова *ВИЧ* в измененной форме: “*ВИЧу* – антитеза” (подзаголовок главы в книге А. Шевелева “СПИД – загадка века”).

Факт прочного усвоения слова *СПИД* русским языком неоспорим. Оно проникает не только на страницы периодической печати, но и в произведения художественной литературы, например:

Над миром нравственность царит:
От Сан-Франциско до Ахтырки;
Не божий стыд, а обезьяний СПИД
Нас обязует
к жизни монастырской.

(А. Вознесенский)

Отмечаются уже и случаи переносного употребления слова *СПИД*: “Откуда же пришел этот своеобразный нравственный СПИД в нашу страну?” (Комс. правда. 1989. 21 дек.).

Слово *СПИД*, надо полагать, вытеснило из употребления синонимичное образование *СПИН*, которое практически уже не используется, например: “Нарушение системы защиты и называется иммунным дефицитом, по-русски – иммунной недостаточностью. Вот почему сокращение СПИД иногда заменяют на СПИН” (В. Покровский) и др. Ср. также: “Термин СПИД расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита, то есть как синдром приобретенной недостаточности иммунной системы” (А. Шевелев).

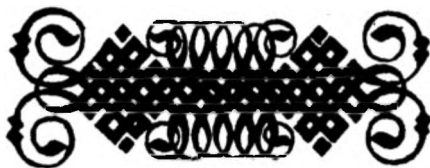
Аббревиатура *СПИД* постепенно включается и в словообразовательный процесс. Она, несомненно, легла в основу нового термина *ОС-ПИД* – обезьяний СПИД, например: “Вспышки СПИД-подобного синдрома у содержащихся в неволе макак описаны в нескольких научных центрах США. Заболевание было названо обезьяньим СПИДом (ОС-ПИД)” (А. Шевелев). Отмечаются и другие производные от *СПИД* образования как терминологического, так и нетерминологического характера, например: “Обычно, прежде чем раскрывается полная картина заболевания, у больного развивается пред-СПИД” (А. Шевелев), ср. *анти-СПИД* и др.

Таким образом, из двух калькированных аббревиатур, относящихся к интернациональной медицинской терминологии, слово *СПИД* входит в общее употребление, а *ВИЧ*, как обозначающее более частное понятие, остается принадлежностью специальной терминологической лексики.

Будучи близкими по значению, обе аббревиатуры могут объединяться в один лексический блок наподобие сложного слова, причем с фиксированным расположением частей *ВИЧ/СПИД*: начальник отдела *ВИЧ/СПИДа*, программа ООН по *ВИЧ/СПИДу*; правозащитники, занимающиеся *ВИЧ/СПИДом* (Общая газета. 1998. 3–9 дек.) Этому способствует, с одной стороны, бóльшая определенность термина *ВИЧ* (ср. *ВИЧ* – вирус иммунодефицита, а *СПИД* – синдром иммунодефицита), с другой стороны – изменение по падежам слова *СПИД*, что позволяет грамматически выразить различные отношения одних слов к другим.

Публикация Л.А. Дерибас

Практикум по культуре речи



Я ГОВОРЮ – ТЫ ГОВОРИШЬ

Мы уже знаем, что обычно два слова можно соединить в пару, если то, что они обозначают, соединяется, связывается в реальном мире. Но иногда бывает так, что по смыслу слова соединить можно, однако языковая традиция не позволяет нам это сделать. Скажем, слово *окладистый* значит “широкий, густой”. Усы, как и борода, конечно, могут быть густыми, однако сказать *окладистая борода* мы можем, а *окладистые усы* – нет. Точно так же можно *потупить взор* или *потупить очи*, но нельзя *потупить глаза*, можно *промчаться стремглав*, но нельзя *съесть стремглав*.

Есть в языке устойчивые сочетания, которые называются фразеологизмами. В них мы тоже соединяем слова по традиции. Чтобы использовать фразеологизм правильно, надо точно знать, из каких слов он состоит и что означает.

Насколько умело вы следуете языковым традициям, покажут наши задания.

Задание 1. “Проливной брюнет”.

Вам, конечно, известно сочетание *проливной дождь*. Здесь слово *проливной* значит “очень сильный” (по степени проявления). Но с другими по смыслу словами прилагательное *проливной* не сочетается: например, нельзя сказать “проливной снег”. Найдите прилагательное, которое передает тот же смысл, но в сочетании с такими словами (каждое прилагательное только с одним существительным):

Брюнет, друг, враг, ошибка, тьма, восторг.

Задание 2. Белый белому рознь.

Что значит слово, которое повторяется в следующих сочетаниях? Какие словосочетания будут свободными, а какие – устойчивыми, традиционными?

Белая бумага, белая рубашка, белый уголь, белые руки, белый билет, белая кость, белые стены, белый стих, белое вино.

Дать телеграмму, дать работу, дать слово, дать по рукам, дать ход делу, дать знать, дать книгу, дать перцу.

Как это сделать? Предположим, что у нас есть такие сочетания: *играть на сцене, сойти со сцены, расставить на сцене* (декорации). Первое и третье сочетания являются свободными, потому что каждое слово, в том числе и слово *сцена*, имеет здесь самостоятельное значение, которое может повториться и в других сочетаниях. Слово *сцена* значит здесь “специальная площадка, на которой происходит театральное представление”, и такое же значение будет у этой языковой единицы в сочетаниях *смотреть на сцену, ходить по сцене, засыпать сцену цветами* и т.д. А вот сочетание *сойти со сцены* может быть как свободным, так и устойчивым; в последнем случае оно имеет целостное значение “с течением времени, с изменением обстоятельств стать ненужным, непригодным, оставить какую-то деятельность”.

Задание 3. Найдите случаи нарушения традиционной сочетаемости в парах слов.

Достичь (успеха, выполнения, цели, повышения, порядка, послушания, победы, результата).

Как это сделать? Предположим, что нам даны такие сочетания: *проводить (совещание, контроль, организацию, завершение, помощь, оценку, экспертизу)*. Языковая традиция допускает только такие сочетания: *проводить (совещание, оценку, экспертизу)*.

Задание 4. Пирамида.

Заполните клетки в пирамиде, заменив предложенные фразеологизмы одним словом.

1. Вот еще!
2. Не в бровь, а в глаз.
3. Тепличное растение.
4. От горшка два вершка.
5. Плясать под дудку.
6. На широкую ногу.

1. --- (3 буквы)

2. ----- (5 букв)

3. ----- (7 букв)

4. ----- (9 букв)

5. ----- (11 букв)

6. ----- (13 букв)

Задание 5. Одно, равное многим.

Найдите одно или несколько фразеологических выражений, которые будут синонимами к данным в задании словам:

отвлекаться, быстро, без причины, раздражать, громко.

Задание 6. “Да” или “нет”?

Можно ли так сказать? Если “да” – поставьте “+”, если “нет” – “–” и объясните, в каких сочетаниях слова соединяются неправильно.

1) Силами студентов журфака и службы безопасности НГУ они были выдворены на улицу, где еще полчаса раздавали прохожим листовки и делали гневные выкрики в адрес “грабителей молодежи”.

2) Охота корреспондентов и желтая пресс-лихорадка вокруг актрисы вполне объяснимы: Гвинет удалось завоевать сердце супергероя Голливуда Брэда Питта.

3) Эти правила будут введены в практику после каникул. Соответствующие комиссии уже подготовили проект изменений в регламенте работы сейма.

4) Двадцатилетняя Мария, чистокровная испанка с богатой родословной, без ума влюбилась в простого индейца.

5) Дорожники, проложив новую дорогу, не станут ее ломать. Но пришлите электриков, и они, что называется, с открытой душой выроют яму посреди мостовой и пустят свой кабель, а следом явятся водопроводчики и выроют свою яму, для своих нужд.

6) В данном случае смущает не сам рецепт, а его простота, отсутствие прогноза и убежденность, что все эти разработки останутся там, далеко, а на чашке весов будут и впредь лежать жизни незнакомых нам людей.

7) Создание нового проекта сыграет должный эффект в развитии экономики.

8) Провисев пару дней на телефоне, поставив на уши знакомых и незнакомых нижегородских радиофизиков, я узнала, что идея создания взрывомагнитных генераторов на протяжении ряда лет буквально витала в воздухе.

9) На пальцах рук можно пересчитать таких, как он.

10) Даже эту неполную и довольно таинственную информацию пришлось выяснять обиняками и при помощи косвенных данных.

Ответы см. на стр. 120

Практикум по культуре речи

Ответы к заданиям (см. с. 59)

Задание 1.

Брюнет – *жгучий*, друг – *закадычный*, враг – *заклятый*, ошибка – *грубая*, тьма – *крошечная*, восторг – *телячий*.

Задание 2.

Сочетания *белая бумага*, *белая рубашка* и *белые стены* являются свободными, слово *белый* значит здесь “цвета снега, молока, мела”; в таком же значении это слово используется в сочетаниях *белые облака*, *белый туман* и т.д. Свободным будет также сочетание *белые руки*, здесь слово *белый* имеет значение “очень светлый”, в том же значении используется слово *белый* в сочетании *белый мед*, *белая кожа*. Заметим только, то сочетание *белые руки* иногда используется при описании человека, чтобы показать, что он не занимается физическим трудом.

Устойчивыми будут такие сочетания: *белый билет* (“свидетельство об освобождении от военной службы”), *белый стих* (“нерифмованный стих”), *белый уголь* (“о движущей силе воды”), *белое вино* (“светлое виноградное вино”). А вот сочетание *белая кость* в зависимости от контекста может быть и свободным (“когда они были на раскопках, то нашли какую-то белую кость”), и устойчивым (“все это свидетельствовало, что это люди белой кости” – “о людях знатного, чаще дворянского происхождения”).

Сочетания *дать книгу* (в значении “передать из рук в руки, вручить”; так же, как *дать денег*, *дать воды*, *дать ключ*), *дать работу* (в значении “поручить, определить, назначить”; так же, как *дать задание*), *дать телеграмму* (“телеграфировать”) являются свободными. Устойчивыми будут такие сочетания: *дать ход делу* (“направить куда-н. для рассмотрения, исполнения”), *дать знать* (“предупредить кого-л. о чем-л.”), *дать перцу* (“в грубой форме отчитать, отругать кого-л., наказать за что-л.” или “нанести поражение, разгромить, расправиться”), *дать по рукам* (“дать острастку, наказать”), *дать слово* (“предоставить кому-л. возможность выступить на собрании” или “пообещать кому-л. что-л.”).

Задание 3.

Сочетания, в которых не нарушается языковая традиция: *достичь (успеха, цели, результата)*.

Задание 4.

1. нет
2. метко
3. неженка
4. маленький
5. подчиняться
6. расточительно

Задание 5.

Отвлекаться – ловить ворон (галок, мух), считать ворон (галок, мух), разевать рот.

Быстро – не по дням, а по часам, как (будто, словно) на дрожжах, как (будто словно, точно) грибы после дождя.

Без причины – ни за что (ни про что), ни с того ни с сего, с бухты-баряхты, (за) здорово живешь, ни за понюх табаку.

Раздражать – выводить из себя, портить кровь, играть на нервах, дразнить гусей.

Громко – во все горло, во всю глотку, во весь голос, не своим голосом, что есть (было) мочи (силы, сил, духу), во всю ивановскую, благим матом, как (словно) резаный.

Задание 6.

Во 2, 5, 8 предложениях этого задания нет ни одной лексической ошибки. В остальных предложениях есть слова, которые неправильно соединяются с другими словами: по традиции они не могут быть “парамии”.

1) Неправильно: Силами студентов журфака и службы безопасности НГУ они были выдворены на улицу, где еще полчаса раздавали проходим листочки и *делали* гневные *выкрики* в адрес “грабителей молодежи”.

По-русски нельзя *делать выкрики*: можно, например, *делать заявления*, а в этом предложении вообще лучше сказать *гневно выкрикивали обвинения*.

3) Неправильно: Эти правила будут введены в практику после каникул. Соответствующие комиссии уже *приготовили проект* изменений в регламенте работы сейма.

Слова *приготовить* и *подготовить* почти синонимичны, однако между ними есть и различие. Слово *приготовить* по традиции употребляется, главным образом, по отношению к веществам, пище, а слово *подготовить* означает “сделать что-н. предварительно для организации чего-л.” Поэтому надо сказать – *подготовить проект*.

4) Неправильно: Двадцатилетняя Мария, чистокровная испанка с богатой родословной, *без ума влюбилась* в простого индейца.

Есть устойчивые выражения “быть без ума от кого-л.” и “без памяти влюбиться”; здесь части этих выражений без всяких оснований со-

единяются в новое сочетание; может быть, автор хотел сказать о том, что девушка влюбилась сразу, особо не раздумывая, а, может быть, как сильно она влюбилась.

6) Неправильно: В данном случае смущает не сам рецепт, а его простота, отсутствие прогноза и убежденность, что все эти разборки останутся там, далеко, и на *чашке весов* будут и впредь лежать жизни незнакомых нам людей.

У весов чашки нет, а есть чаша, поэтому правильное устойчивое выражение – “чаша весов”, а не “чашка весов”.

7) Неправильно: Создание нового проекта *сыграет* должный эффект в развитии экономики.

Можно “сыграть роль”; но “произвести эффект”, “дать эффект”.

9) Неправильно: *На пальцах* рук можно пересчитать таких, как он.

В этом предложении в устойчивый оборот “на пальцах (по пальцам) пересчитать” без особого стилистического задания вводится еще одно слово: трудно представить, что мы начнем считать на пальцах ног.

10) Неправильно: Даже эту неполную и довольно таинственную информацию пришлось *выяснять* обиняками и при помощи косвенных данных.

Обиняком или *обиняками* (то есть намеком, иносказательно) нельзя ничего *выяснять*, можно только *говорить, выражаться*.

Н.М. Муравьева,
кандидат филологических наук

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ-МОСКВИЧЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Льготную подписку на "Русскую речь" можно оформить в редакции журнала (справки о цене подписки – по тел. 290-23-78).



МОСКОВСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

*По материалам его архива,
хранящегося в Институте русского языка
им. В.В. Виноградова РАН*

*Г.С. БАРАНКОВА,
кандидат филологических наук*

В фондах Рукописного Отдела Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН хранятся материалы Московского лингвистического кружка (ф. 20). Этот кружок сыграл большую роль в истории отечественного языкознания. Он был создан по инициативе студентов-лингвистов Московского университета в 1915 году и первоначально состоял при Московской диалектологической комиссии, а прекратил свое существование в 1924 году.

Как было сформулировано в Уставе МЛК в редакции 1919 года, «Кружок имеет своей задачей всестороннее изучение вопросов лингвистики и этнографии. Данная область филологической науки Кружком понимается в самом широком смысле: сюда входят и исторические проблемы, и проблемы современного языка и быта, а также вопросы поэтического языка и приемов художественного творчества. Особое внимание Кружок обращает на живые современные явления, относящиеся к указанным областям науки». В новой редакции Устава 1922 года задачи МЛК были сформулированы более кратко: «Кружок с первых шагов своей деятельности поставил своей целью разработку как общетеоретических, так и специальных вопросов науки о языке и смежных с ней дисциплин».

Кружковцы понимали свое объединение как своеобразную лабораторию. В Уставе МЛК 1919 года подчеркивалось это обстоятельство: «Заседания Кружка имеют характер лабораторный: здесь члены предлагают свои отдельные мысли, незаконченные эскизы, и общими силами вырабатываются основные научные методы и новые точки зрения». Основной формой проведения заседаний были доклады и сообщения с их последующими обсуждениями.

Кружок сотрудничал с другими научными организациями, в числе которых были Московская диалектологическая комиссия, Общество изучения поэтического языка и др. В него входили действительные члены, имеющие право решающего голоса на заседаниях, почетные члены и сотрудники. В обязанности действительных членов входило участие в научной деятельности Кружка, а также его материальная поддержка (в виде уплаты взносов). В случаях уклонения от посещения заседаний Кружка и от выступлений на нем с докладами или сообщениями в течение длительного времени члены Кружка могли быть выведены из его состава.

Почетные члены МЛК выбирались в знак уважения к их научным заслугам и имели все права действительных членов. В редакции Устава 1922 года упоминаются также сотрудники МЛК, которые пользовались правом совещательного голоса и не должны были платить членских взносов. В числе почетных членов Кружка были *Н.Н. Дурново, В.К. Поржезинский, Д.Н. Ушаков*.

Руководство Кружка состояло из пяти человек, образующих его президиум: *председатель* (в обязанности которого входило общее руководство, а также созыв общих собраний и председательствование на них), *товарищ председателя* (помогавший председателю в руководстве работой, редактировании трудов и материалов, а также заменявший председателя во время его отсутствия), *казначей* (для хранения денежных средств и финансовой отчетности), *секретарь* (который вел протоколы заседаний и делопроизводство, разрабатывал научный архив) и *библиотекарь*. В разные годы должность председателя Кружка занимали *Р.О. Якобсон, М.Н. Петерсон, А.А. Буслаев, Г.О. Винокур, Н.Ф. Яковлев*.

Члены Кружка стали впоследствии видными учеными в области литературы и языкознания. В их числе *Д.Д. Благой, С.И. Бернштейн, С.М. Бонди, П.Г. Богатырев, Ф.М. Вермель, Б.В. Горнунг, Н.И. Жинкин, В.М. Жирмунский, Е.Д. Поливанов, В.В. Кенигсберг, С.Я. Мазэ, А.М. Пешковский, А.И. Ромм, Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, Влад. Б. и Викт. Б. Шкловские, Р.О. Шор, Г.Г. Шпет, Б.И. Ярхо*. Участвовали в заседаниях МЛК и поэты: *В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, О.Э. Мандельштам, Н.Н. Асеев*.

В связи с тем, что Кружок испытывал трудности с публикациями, многие его материалы так и остались неизданными и находятся в разных архивохранилищах, в том числе в Рукописном Отделе Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (далее РО ИЯ РАН). Основной массив документов, хранящихся здесь, представляет собой протоколы заседаний МЛК за 1919–1923 годы, имеются здесь также Устав МЛК в редакциях 1919, 1922 годов и материалы к нему, отчеты о деятельности МЛК за 1918–1923 годы, а также другие документы, относящиеся к финансовой и хозяйственной деятельности Кружка.

Протоколы, хранящиеся в РО, можно разделить на две группы. В одной из них содержатся обсуждения прочитанных докладов (тексты самих докладов в материалах ИРЯ РАН в настоящее время отсутствуют), в другой – протоколы, в которых отражается научно-организационная деятельность Кружка.

Проблематика прочитанных в Кружке докладов была весьма разнообразна: обсуждались такие понятия, как поэтика, явления стиля, вопросы соотношения сюжета и слова. В ряде докладов и их последующих обсуждениях затрагивались проблемы поэтического языка (его функции и структуры). Отдельные заседания Кружка были посвящены вопросам теории стиха, проблемам истории литературы и ее связи с лингвистикой. Г.О. Винокур в своей статье 1922 года “Московский лингвистический кружок” отмечал, что члены МЛК видели в лингвистике науку “как о практическом, так и о поэтическом языке” (Винокур Г.О. Московский лингвистический кружок // Научные известия (академического центра Наркомпроса). Сб. 2. Философия. Литература. Искусство. М., 1922).

При обсуждении доклада В.Б. Шкловского “Сюжетосложение в кинематографическом искусстве”, сделанного на заседании МЛК 1 сентября 1919 года, дискуссия развернулась по одному из ключевых для членов МЛК вопросов – о сущности поэтического языка. Отстаивая право лингвиста “анализировать поэтические факты как факты языковые” (см.: Винокур Г.О. Филологические исследования. М., 1990), кружковцы требовали исследовать поэтические явления, не выходя за пределы “выражения”, т.е. лингвистически, а не с точки зрения образности. С этих позиций они подвергали критике учение А.А. Потебни. Значительно позже, в 1945 году, Г.О. Винокур в статье “Об изучении языка литературных произведений” отметил, что основной недостаток этого учения заключался в том, что в нем “общий язык целиком растворился в языке поэтическом” (Винокур Г.О. Филологические исследования).

О продуктивности деятельности Кружка можно судить по его сохранившимся отчетам и, в частности, по количеству прочитанных и обсужденных за год докладов. Так, за академический 1918–1919 годы в Кружке было сделано и обсуждено 17 докладов, с конца февраля 1919 по конец февраля 1920 – 32, с начала марта 1920 по 1 марта 1921 – 23, с 1 марта 1921 по 1 марта 1922 – 35, с 1 марта 1922 по 1 марта 1923 – 16, с 1 марта по 27 сентября 1923 – 5. Среди прочитанных были:

“Поэтика Тютчева” Д.Д. Благого; «О “Гусаре” Пушкина», “Труд Познанского о заговорах”, “О формальных особенностях гоголевских комедий”, “Опыт изучения заговоров (Повторения в заговорах)” П.Г. Богатырева; “О поэтическом эпитете”, “Четырехстопный хорей с дактилическими окончаниями”, “Проблема пролетарской поэзии”, «О сценарии “Ревизора”» О.М. Брика; “Из синтаксической методологии”, «К

сюжетосложению “Идиота” Достоевского», “Некоторые наблюдения над слоговым словотворчеством” *А.А. Буслаева*; “Воспоминания о Корше”, “Пример футуризма в персидской поэзии” *Л.И. Жиркова*; “Валерий Брюсов и наследие Пушкина”, “Композиция лирических стихотворений” *В.М. Жирмунского*; «Заметки к композиции “Принцессы Брамбиллы” Э. Гофмана», «Историко-литературные новинки “Задрюги”» (По поводу книги Н.Н. Кононова “Введение в историю русской литературы” и сборника “Творчество Тургенева”), «Опыт анализа понятия “стих”» *М.М. Кенигсберга*; “История литературы как наука” (по поводу книги [А.С.] Архангельского [“Введение в историю русской литературы”] *Е.Н. Коншиной*; “О языках малых народностей и языковой политике”, “Современные слова, составленные из сокращений” *Б.О. Кушнера*, “О синтаксисе Ягича”, “Синтаксические взгляды Корша”, “Паратаксис и гипотаксис”, сообщение “Об одном случае цветного слуха” *М.Н. Петерсона*; сообщение о формах единственного и множественного числа *А.М. Пешковского*; “Мелодические явления, используемые для семасиологических целей в дальневосточных языках” *Е.Д. Поливанова*; “Очередные задачи языкознания в России” *В.К. Поржезинского*; “Наукообразие в изучении ритма поэтической речи”, “О ритме пушкинской прозы” *Б.В. Томашевского*; сообщение о докладе Ф.Е. Корша “Просодия русских слов в предложении”, прочитанном им на заседании Московской диалектологической комиссии *Д.Н. Ушакова*; “Сюжетосложение в кинематографическом искусстве”, «“Тристрам Шенди” Стерна», “Тема, образ и сюжет В.В. Розанова” *В.Б. Шкловского*; “Эстетические моменты в структуре слова” *Г.Г. Шпета*; “О поэтическом языке произведений Хлебникова”, “Образчик научного шарлатанства (по поводу “Науки о стихе” В. Брюсова)” *Р.О. Якобсона* и ряд других.

Проводились закрытые заседания Кружка, на которых обсуждались научно-организационные вопросы, а также заседания Президиума, посвященные разработке программ деятельности Кружка. Кроме того, его работа была направлена на создание своего издательского аппарата, что, однако, кружковцам так и не удалось осуществить. На заседаниях Кружка проходило чтение ученых-лингвистов (*Д.Н. Ушакова*, *В.К. Поржезинского*) в связи с юбилейными датами. Особым образом отмечали кружковцы день памяти *Ф.Е. Корша*, которого считали своим учителем.

Разрешение 2-го Отделения Академии наук на деятельность Кружка было получено 16 февраля 1915 года в день смерти *Ф.Е. Корша*, который еще в конце 1914 года представил проект Устава МЛК. Каждый год кружковцы проводили специальное заседание, посвященное очередной годовщине Кружка, на котором подводили итоги своей деятельности, а также выступали с воспоминаниями о *Ф.Е. Корше*.

Особенно торжественно было отпраздновано пятилетие Кружка.

Выступивший с воспоминаниями о первых днях его деятельности А.А. Буслаев отметил, что главная задача Кружка – “методологическая революция”. Приехавшие на это заседание гости приветствовали членов Кружка, а В.Б. Шкловский, выступавший от имени Петроградского Общества изучения теории поэтического языка, отметил “связь деятельности Кружка с деятельностью футуристов в искусстве” (заметим, что одна из ранних статей Г.О. Винокура так и называлась: “Футуристы – строители языка”). Д.Н. Ушаков, произнесший приветственную речь, отметил “своего рода провиденциальную звезду, ведущую Кружок на его научном поприще: основание Кружка в день смерти Корша, первое присутствие членов Кружка в Московской диалектологической комиссии на заседании, посвященном памяти Фортунатова”.

Проводились заседания, которые имели своего рода лабораторный характер. Так, 19 августа 1920 года состоялось заседание, посвященное методологии изучения особенностей детской речи, на котором обсуждались как печатные, так и неизданные материалы, представленные *В.И. Яковлевой*. В июне 1921 года Академический Центр Наркомпроса обратился к Кружку с приглашением принять участие в организации Словаря русского литературного языка, издаваемого Акцентром. Кружковцы горячо откликнулись на предложение и приняли участие в этой работе. Среди них были *А.А. Буслаев, Б.В. Горнунг, М.М. Кенигсберг, Е.Н. Конишина, С.Я. Мазэ, А.И. Ромм, П.П. Свешников, Р.О. Шор, Д.Д. Благой*.

Одним из направлений деятельности МЛК было занятие фольклористикой, этнографией и историей культуры. Об этом свидетельствуют, например, такие доклады, как “Вера в магическую силу слова и имени в мировоззрении древних египтян” *В.И. Авдиева*, “Опыт изучения заговоров (Повторения в заговорах)” и “О народных анекдотах” *П.Г. Богатырева*, “Евфоника сербских двенадцатисложных заплачек” *Б.И. Ярхо*, “Русская историческая лирика XVI–XVII веков”, “Из методологии записи песен”, “Элементы фольклора у Лермонтова” *Н.Ф. Яковлева*, “Сюжетосложение в кинематографическом искусстве” *В.Б. Шкловского*.

Кроме того, проводились специальные заседания Кружка, посвященные записи фольклорных материалов (записи велись не только на русском языке, но и на мордовском). Приглашались на заседания и исполнители народных песен.

Большой интерес вызвало сообщение *Ю.М. Соколова* “О современных народных легендах и частушках”, сделанное им на двух заседаниях 17 и 23 мая 1919 года. Эти легенды были связаны с войной и царскими кругами и выражали по большей части оппозиционное отношение народа к новой власти. Они были записаны любителем народного творчества Барановым на улицах Москвы, в очередах и т.п.

В обсуждении сообщения были затронуты следующие вопросы: под-

лины ли записанные легенды или кем-то сфабрикованы, пути распространения легенд и их стиль. Выступивший в прениях Р.О. Якобсон разделил все прочитанные легенды на две группы. Первая группа – легенды о дореволюционных событиях, в них главная цель – не осмысление события, а занимательность сюжета. Эти легенды – своего рода авантюрные новеллы, где активными действующими лицами являются царица, Распутин, Николай II, великий князь Николай Николаевич.

Вторая группа – легенды о современных революционных событиях, центральное место в которых занимает осмысление происходящего.

О.М. Брик предположил, что легенды второго рода производят впечатление “заранее заготовленных и пущенных в народ”. А.А. Буслаев признал, что Брик в известной степени прав и отметил, что “некоторые легенды определенно раньше являются в Москве, чем в деревне”. С ними не были согласны М.Н. Петерсон и П.Г. Богатырев (последний допускал фабрикацию легенд лишь в отдельных случаях). В.И. Нейштадт отмечал, что в провинции часто можно наблюдать, как, “рассказывая о каком-либо событии, ссылаются на то, что слышали из Москвы”, однако П.Г. Богатырев считал это типичным художественным приемом. Р.О. Якобсон указывал, что ему приходилось наблюдать фабрикацию легенд и слухов уже после Февральской революции и выразил уверенность, что фабрикация имеет место и сейчас. В качестве примера он ссылаясь на слухи в связи с реквизицией Иверской часовни, которые распространились в один и тот же день в разных церквях. Р.О. Якобсон говорил также, что среди легенд, записанных Барановым, отсутствуют легенды бытового, исторического характера.

Согласившись с тем, что для исследователя безразлично, где была записана легенда, участники обсуждения пришли к выводу, что целый ряд рассказов “исходил из центра, из специфической полуобразованной среды”.

Далее мы публикуем протоколы заседаний МЛК от 17 и 23 мая 1919 года. Добавления, внесенные при расшифровке сокращений в тексте протоколов, приводятся в квадратных скобках.

Протокол заседания Московского Лингвистического Кружка от 17 мая 1919 г.

Присутствовали: Богатырев, Брик, А. Буслаев, В. Буслаев, Винокур, Горнунг, Нейштадт, Петерсон, Свешников, Ю. Соколов, Якобсон. Утверждаются протоколы 4-х предыдущих заседаний.

Ю.М. Соколов делает сообщение о народных легендах, связанных с текущими событиями, записанных г. Барановым, любителем фольклора. Записи эти делались Барановым на улицах Москвы, в очередях, на

площадях и т.п. Ю.М. Соколов имел случай и сам записывать современные легенды (напр. в Нижегородск. губ.), но в литературе мы не имеем о них почти ничего. Единственная книжка, “Дух народа” г-жи Федорченко, не может внушить полного доверия, так как не только в книжке нет никаких указаний, у кого и при каких обстоятельствах записаны ее легенды, но даже и в личном с ней разговоре Соколов не мог получить ни одного положительного указания со стороны автора. Легенды, записанные Барановым, внушают гораздо больше доверия, так как они снабжены соответствующими указаниями; помимо того, Баранов уже давно интересуется фольклором, бывал на Кавказе, где занимался записями. Что касается, однако, стилистической стороны этих легенд, то им едва ли можно вполне доверять, ибо Баранов не мог иметь возможности записывать непосредственно за рассказчиком, а принужден был записывать по памяти дома. Сюжеты же им, по-видимому, не сочинены.

Легенды эти распадутся на два разряда: 1) связанные с войной и царскими кругами, 2) связанные с современной властью; последние в громадном большинстве оппозиционны, что может быть объяснимо и тем, что записаны они не в рабочей среде, а среди мелких торгашей и мещанского люда. В легендах первого типа главными действующими лицами являются: царь Николай II, царица Александра, в[еликий] кн[язь] Николай Николаевич и Распутин. Николай II изображается почти всегда очень ограниченным человек[ом], но с очень доброй и мягкой душой. Он отмечен Роком и уже с детства обречен на погибель. Так, в одной из легенд под заглавием “Цветочки Николая II” Николай, еще мальчик, гуляет по саду и рвет цветы. Но здесь ему является старец и говорит: “Не все тебе цветочки срывать; придет время и уже нельзя будет тебе рвать цветов”; и действительно, впоследствии, когда разразилась революция, Николай обращается к страже и просит пустить его сорвать цветок, но стража отвечает: “Не приказано, В[аше] И[мператорское] В[еличество]!”. Тогда Николай просит кого-нибудь из стражи самого сорвать цветок и принести ему, но и здесь его просьба не удовлетворяется. Всем, конечно, ясен здесь отголосок имевшей в свое время место фразы Николая II о том, что он хочет уехать в Ливадию, что он любит цветы, которая послужила предметом многих острот и насмешек в интеллигентном мире в то время. Подобно этому, и другие легенды указывают на проникновение различных слухов, сплетен, ходивших в образованном мире, в демократическую среду. Александра изображается умной, хитрой и злой женщиной, неверной женой, имеющей дружка Распутина, а Ник[олай] Никол[аевич] — справедливым и строгим судьей.

Обращаясь к легендам второго типа, связанным с современными событиями, Соколов отмечает в них помимо оппозиционного настроения также и антисемитское. Затем Соколов читает ряд легенд (второго ти-

па) по записям Баранова. Были прочтены легенды: “Кровь плачет”, “Белая женщина”, “Документ семи сионских мудрецов”, “Чудо св. Сергия”, “Солдаты и св. Гермоген”, “Антижрица”.

Обсуждение предложено разбить на три части: 1) предлагаются вопросы, 2) обсуждается вопрос о подлинности легенд и достоверности их как материала для изучения, 3) обсуждаются сами легенды по существу.

I. Вопросы и ответы.

Якобсон. Легенды первого типа конкретны, т.е. там фигурируют определенные исторические лица. Есть ли такая же конкретность и в легендах второго типа, или они все оторваны от реальных условий, подобно прочитанным?

Соколов. О деятелях рев[олюционн]ого времени легенд нет. Есть одна легенда о Керенском, где отношение к нему ненадоброжелательно. В частушках они фигурируют все.

Якобсон. А антисемитизм, на котор[ый] указывал докладчик, конкретно проявляется или отвлеченно?

Соколов. Большею частью отвлеченно, хотя есть одно место, где еврей комиссар участвует в разоблачении людей.

Брик. Есть ли указания на то, что евреи восстают против христиан?

Соколов. Вообще в легендах недружелюбное отношение к евреям; они часто служат поводом для осмысления современных событий.

Якобсон. Все ли частушки оппозиционны?

Соколов. Не все, но большинство.

Петерсон замечает, что едва ли следует ожидать других настроений в рабочей среде, как это делает докладчик. Петерсон сам наблюдал случаи такого же оппозиционного отношения и в среде рабочих.

II. Обсуждение достоверности легенд.

Горнунг отмечает, что легенды не одинаково записаны, но производят впечатление обработанности (напр[имер], “Кровь плачет”).

Соколов также подчеркивает неодинаковость стилей. Как раз “Кровь плачет” и возбуждает сомнения.

Брик, касаясь вопроса о несомненности записей, выдвигает новый вопрос: не являются ли эти легенды заранее заготовленными и пущенными в народ? Очень похожи на заготовленные легенды о солдате и св. Гермогене и о чуде св. Сергия. Легенда же о семи мудрецах не вызывает подобного отношения. В указанных легендах слишком очевидна тенденция. Сама оппозиционность может объясняться не средой, а тем, что легенды эти являются нелегальной литературой. На то, что подобные легенды изготавливаются, указывает то, что они очень уж складно составлены.

Соколов еще раз подчеркивает, что он вполне допускает возможность самостоятельной обработки легенд Барановым, но организованного изготовления он допустить не может. Это очень не похоже на русское агитационное средство, ибо всегда у нас мало пользовались фольклором.

Брик рассказывает случай, имевший место в Петрограде. Один литератор читал лекцию об Антихристе именно в роде таких легенд. Подобные собрания, по-видимому, происходят.

Буслаев находит, что *Брик* в известной степени прав. *Буслаев* отмечает, что некоторые легенды определенно появляются раньше в Москве, чем в деревне. Ср. с этим происходившие в майские дни в разных концах города собрания, причем ходили легенды, очень возможно, что и искусственного происхождения.

Петерсон находит, что предположение о фабрикации натянуто. Это было бы слишком сложно. Что же касается подлинности записанных Барановым легенд, то они, очевидно, им не выдуманы: фабула оригинальна, стиль разнообразен.

Богатырев указывает, что Баранов, записывая по памяти, легко мог допускать видоизменения в стиле. Можно ли его инструктировать в том смысле, чтобы он, записывая не со слов, не старался бы уже подражать стилю рассказчика, а особо запечатлевшиеся стилистические особенности – отмечал бы особо. Такая запись была бы научна. Стиль в легенд[ах], действительно, разный – то видна их подделка, правда, непроизвольная. Сюжеты, конечно, им не выдуманы и переданы беспристрастно. Что касается фабрикации, то систематическая фабрикация маловероятна, в отдельных случаях невозможна. Предложенные записи сделаны не второю рукой с несомненными наслоениями из среды воспринимающих. В легенде об Антихристе имеем сказочные мотивы. Если бы даже и была фабрикация – то для фольклориста это едва ли может иметь значение. Нам неважно, откуда пошла легенда; важно лишь, что мы ее знаем из вторых, третьих рук, видоизмененную. Конечно, интересен и источник, но установить его, в конце концов, трудно.

Горнунг отмечает, что на местах легенды создаются скорее, чем в Москве. Там, например, в связи с современными раскрытиями мощей, создается очень много легенд; кроме того, много легенд известно от подмосковных лиц, уже не из первых рук.

Нейштадт. В провинции оппозиция не выходит из рамок разговора; при этом очень часто можно наблюдать, что, рассказывая о каком-либо случае или событии, ссылаются на то, что слышали из Москвы. Литературность же прочитанных легенд указывает на инспирацию.

Богатырев полагает, что ссылки на то, что слышали из Москвы, есть часто лишь художественный прием.

Якобсон рассказывает, что ему приходил[ось] уже после Февральской революции наблюдать, в связи с политической агитацией, определенное фабрикование легенд и слухов, причем исходило оно с крайне левых флангов. Несомненно, что и сейчас фабрикация имеет место. Конечно, это не есть какое[-то] организованное предприятие, но факт распространения с известной тенденцией – не подлежит сомнению. Для примера можно указать на недавний случай в Москве, в связи со слухами о реквизиции Иверской часовни. Не надо думать, что изучающему народное творчество не важно, откуда идут легенды. Различить агитационную цель от осмысления события – очень существенная задача. Некоторые легенды именно и производят впечатление агитации, причем эта агитация исходит из затронутой образованностью массы, на что указывают многие литературные и книжные места. Что касается вопроса о месте возникновения легенд вообще, то не мешает вспомнить тот факт, что целый ряд исторических рассказов исходил из центра, из специфической, полуобразованной среды.

Богатырев согласен, что источник установить – очень интересно; но это чрезвычайно трудно. Так, и случай с Иверской часовней – фабрикация или осмысление? Многое говорит и за второе. Вспомним, что 4 р. 40 к. – соответствует эпическому числу.

Нейштадт. Возможна фабрикация в интеллигентных слоях, с юмористическим подходом. Что касается центров, как распространителей легенд, то вспомним время Петровское: легенды об Антихристе, как рассказаны они Мерзжковским.

Брик. Здесь необходим формальный разбор. Легенда о семи мудрецах характерна своей формальной стороной, именно как народная. В других же легендах – морализующая тенденция и построение слишком гладкое. Буслаев сообщает легенду о падении Краснова, известную в Воронеже, как результат сцепления двух легенд.

Соколов останавливается еще раз на роли Баранова и подчеркивает, что записывал Б[аранов] по памяти, но сюжеты им вряд ли выдуманы. Предполагать, что легенды исходят из более образованной среды – несомненно нужно (все виды народной поэзии так распространяются). В легендах эпохи войны явны отголоски интеллигентских слухов и споров. Сейчас такой же процесс. Сравни обычное: “слышал от верного человека”. Такого рода инспирацию принять возможно. Но Богатырев правильно отметил, что [для] фольклориста не играет большой роли это, и, можно сказать, что в этом не заключается даже и интереса. Первоначальный толчок не важен, важны пути распространения и народная обработка. Но все же сознательную инспирацию вряд ли можно признать. Духовенство едва ли способно на это. Вспомним, что наше духовенство никогда не сумело развить агитации.

Якобсон. Интересно, что слухи об Иверской распространились в один и тот же день в разных церквях. Установить источник очень важ-

но, ибо тот и другой тип легенд по первичной структуре отличаются: тенденция, и худож[ественное] осмысление фактов.

Петерсон приводит ряд примеров распространения слухов и легенд, преимущественно из военной среды.

Дальнейшее обсуждение отложено за поздним временем до следующего (23 мая) заседания, в связи с новыми легендами, которые Ю.М. Соколов обещает доложить.

Председатель *Якобсон*

Секретарь *Винокур*

Председатель предлагает в члены Ю.М. Соколова: принят единогласно.

Члены (подписи): *О.М. Брик*

П. Свешников

Нейштадт

Б. Горнунг

Протокол заседания [Московского Лингвистического кружка]
от 23 мая 1919 г.

Присутствовали Якобсон, Винокур, Нейштадт, Вермель, Брик, Ю. Соколов, Гурьян, Свешников, Горнунг.

После заслушания протокола предыдущего заседания, *Ю.М. Соколов* продолжает свое сообщение о современных народных легендах. На этот раз Ю.М. Соколов останавливается на легендах 1-ой группы (смотри протокол заседания 17 мая), т.е. связанных с событиями предреволюционными. Ю.М. [Соколов] указывает на одну статью "Война и произведения народной словесности", помещенную в Трудах Костромского Общества по изучению края. Там же приводится несколько легенд [1]905 и [1]918 года, причем любопытно, что легенды последние являются повторением старых легенд [1]905 года, лишь с подменой фигурирующих в них лиц и обстоятельств; так имеем в легендах: "германцы-азиаты", "некрещенные германцы" и т.п. (конечно, в старых легендах были "японцы-азиаты" и т.д.). В этом же сборнике есть и частушки, но они не внушают доверия. Ю.М. [Соколову] сам автор говорил, что 14 частушек им выдуманно.

Затем Ю.М. Соколов читает из этого сборника легенды: "Как Ник. Николаевич перехитрил немца", где Н.Н. рисуется оппозиционно настроенным по отношению к немецкой партии.

Наконец Ю.М. Соколов читает ряд легенд, записанных Барановым: "Цветочки Николая II", записанную в сентябре 1917 г., "Николай Николаевич, царица и Распутин", запис[анную] в августе 1917 г., "Смерть Николая II", записан[ую] в декабре 1918 г., "Смерть Распутина и революция", зап[исанную] в ноябре 1918 г.

В заключение Ю.М. Соколов указывает на одинаковость выражений в разных легендах: “вольный воздух”, “компаньон”. Также во всех легендах сходна схема предсказаний.

Затем по предложению председателя переходят к обсуждению легенд.

Брик отмечает одинаковость сюжетных мотивов в двух легендах: революция, лишение престола, Сибирь. Любопытен часто появляющийся мотив плача.

Нейштадт указывает на осмысление гибели Николая, заключающееся в формуле: “на роду написано”.

Соколов ставит вопрос: как объяснить сходство в легендах. О стилистике не приходится говорить, ибо записывал Баранов не непосредственно. Одинаковость же сюжетных схем несколько смущает.

Якобсон по поводу генералов-утешителей указывает, что это есть газетный мотив. В газетах того времени генерал Нилов фигурировал именно как утешитель Николая II.

Нейштадт указывает на книжку о Николае II, где также несколько подчеркнута роль генералов.

Соколов. Нужно выяснить: шаблон, наблюдаемый в легендах – есть шаблон самого Баранова или газетный?

Нейштадт отмечает некоторые литературные явления в легендах. Таковы предсказания.

Брик полагает, что схема легенд близка к газетной.

Винокур указывает, что в легенде “Смерть Распутина и революция” почти нет отступлений от газетной схемы, за малыми исключениями. Записана эта легенда от разносчика газет. Прочитанные сегодня легенды еще раз подчеркивают выставленное в прошлом заседании положение о том, что легенды появляются в среде полуобразованной.

Брик полагает, что Баранов старался записывать достоверно, даже и в стилистике. Что касается литературных мотивов, то их присутствие несомненно, однако они проведены не систематически. Таким мотив[ом] является и аналогия: “цветы – наслаждение”. В легендах есть и уклонения от литературных источников: “вышел в Зимний Сад”, “Степь”, очевидно, вместо “Стрелка”.

Брик и *Якобсон*, оба отмечают, как ходкий (?) литературный прием письмо Николая II.

Нейштадт видит в легенде о Н.Н., Расп[утине] и царице – округленность памфлетного стиля.

Соколов, возражая против этого, полагает, что именно эта легенда наиболее приемлема. Здесь нет того утонченного психологизма, кот[орый] наблюдается в других легендах; образы все типические, простые психологические схемы.

Нейштадт отмечает текучесть этой легенды.

Соколов объясняет это влиянием бесчисленных городских сплетен.

Якобсон делит все прочитанные легенды на две группы: 1) легенды о дореволюционных событиях. В легендах этих главной целью является не осмысление события. Эти легенды есть своего рода авантурные новеллы; фигурирование высочайших особ придает этим легендам особую пикантность (ср. фривольность, богохульство). Какова функция этих легенд? Здесь мало заботы о достоверности передаваемых событий. Очень много прибавлений.

Те мотивы, которые встречаются в прочитанных легендах (о Варшаве, о А.Ф., как немецк[ой] шпионке, о генералах – предателях), конечно, с некоторыми вариациями, Якобсону часто приходилось наблюдать совместно с П.Г. Богатыревым при своих поездках.

По поводу мотива отравления можно вспомнить две легенды: 1) в Верейск[ом] уезде о том, как Н.Н. отравляли А.Ф. и М.Ф.; 2) распространенную в интел[лигентских] кругах – о порке Распутина. Здесь не было отравленного пирога. Таким образом, в читанной легенде контаминация двух мотивов;

2) о событиях революционных – здесь эстетический момент отходит на второй план. Главная цель здесь – осмысление событий. Мы видим здесь тенденцию к упрощению. Мотивировка, при отсутствии политической идеологии, двоякого рода: 1) эсхатологическая, 2) бытовая. Эсхатологическая мотивировка постоянно связана с контрреволюционным настроением. Но любопытен обратный пример: в Серпухове один рабочий, большевик, агитатор, выступает с эсхатологическими выступлениями [слово **выступлениями** зачеркнуто, вместо него надписано слово *речами*], где проводит аналогию между современными событиями и 2-м пришествием (Ленин).

Его речи производят сильное впечатление, особенно на женщин.

Упрощения же бытовые – очень обычны. При этом, некоторые факты очень сложны для бытового осмысления, другие же просты. Мы наблюдаем здесь и окаменевшие персонажи, напр. комиссар-еврей, всегда присутствующий при вскрытии мощей (хотя на деле – всегда присутствует русский). Это очень благодарный мотив. Р.О. рассказывает со слов П.Г. Богатырева одну легенду, распространенную среди саратовской интеллигенции, где такой персонаж является для осмысления, а также и пути осмыслений, наблюдаемые им в академических кругах (в связи со взятием Одессы союзник[ам]и), где опять фигурирует еврей.

Особый тип легенд – допускающий распространение, приукрашение фактов. Здесь играют роль газетные слухи, сообщения для красного словца. Таково бегство царя, налет Гучкова. Иногда здесь имеем максимум фактографического элемента. В Риге среди интеллигенции ходили слухи о кафрах, стреляющих дротиками, которые будто бы вызваны англичанами на помощь.

В тех легендах, которые были здесь сообщены, Якобсон видит про-

бел: нет легенд бытового, исторического характера. Затем Якобсон приводит одну такую легенду со слов Богатырева о Ленине-мешочнике. Ленин является здесь эпическим типом, противопоставляется своим единомышленникам. Понемногу к нему переходят функции Николая: его заставляют другие делать неприемлемое для народа.

Соколов. Отсутствие таких легенд у Баранова, может быть, объясняется тем, что их боялся рассказывать. С разделением Якобсона Соколов согласен. Интересно, что эсхатологич[еская] мотивировка носит характер не персональный. Антихриста видит во всем. По поводу вновь выпущенных разменных денег давалось такое разъяснение: $1 + 2 + 3 = 6$; 6 три раза = 666 – звериное число.

К чему же мы приводим? Стилистически Баранов легенды обрабатывал – несомненно, однако бессознательно. Трафарет же легенд – трафарет газетный. Искажения действительных фактов легче понять как действительные искажения. Ср. Стрелка – степь и т.д.

Якобсон. Развенчивание Николая началось еще до революции. Такова, напр., легенда о том, как белый царь стал черным, записанная в Вере́йском уезде.

Затем Ю. М. Соколов оглашает ряд частушек по записям Баранова.

Брик. Вполне понятно, что оппозиционные частушки складываются принятым в литературе стихом, между тем, как поэзия, имеющая официальное содержание, пользуется стихом канонизованным.

Вермель отмечает, что современная официальная поэзия складывается также под влиянием молодой поэзии.

Брик. Влияние это очень слабое.

Якобсон. Подобные этому факты мы видим и в начале XIX в., как оппозиционная поэзия пользовалась также не каноническими техническими средствами. Прочитанные частушки являют собой произведения типа варьете.

Соколов. В этих частушках нет обычных приемов. Это помесь кафешантанных произведений с полународными. Надо думать, что записывая, Баранов изменял ритм.

Нейштадт отмечает, что “два налива” – встречаются у Ершова.

Председатель (подпись) *Р. Якобсон*

секретарь (подпись) *Винокур*

Члены (подписи)

В. Нейштадт

Б. Горнунг

*Подготовка текста к публикации и вступ. статья
Г.С. Баранковой.*

Беседы о лингвистическом источниковедении

ИЗ ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ РУССКИХ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ*

**Герард-Фридрих Миллер –
государственный историограф**

*Л. Ю. АСТАХИНА,
кандидат филологических наук*

В 1733–1742 годах Г.-Ф. Миллер предпринял путешествие по Сибири, став участником Второй Камчатской экспедиции под руководством В. Беринга. За это время он овладел русским языком, приобрел опыт работы с архивными документами. По его указанию местные переписчики копировали для него различные грамоты в архивах сибирских городов. Эти документы нужны были для работы над историей и географией России. Сейчас они хранятся в архиве под названием “Портфели Миллера”. Всего он обследовал архивы 20 городов. В Тобольске от енисейского воеводы Петра Мировича он получил старинную Сибирскую летопись, которую передал в Библиотеку Академии наук.

Возвратившись в Санкт-Петербург, Г.-Ф. Миллер узнал, что в Академии ликвидирован исторический департамент. В 1744 году он составил план по собиранию и изданию исторических источников. В “Предложении об учреждении при Академии наук исторического департамента для сочинения истории и географии Российской империи” Миллер писал, что история есть “зеркало человеческих действий, по которому о всех приключениях нынешних и будущих времен, смотря на прошедшие, рассуждать можно”. Только в России, продолжал он, “не сделано еще никаких учреждений на пользу науки русской истории, а потому она и находится еще во младенчестве” (Пекарский. История Академии наук). Это было справедливо для того времени. Работа В.Н. Татищева “История Российская” еще не напечатана, хотя и была известна обществу в списках.

Г.-Ф. Миллер предлагал пути выявления материалов для большого научного исследования: “Источники русской истории следует искать в степенных книгах, летописях, хронографах как целой России, так и областей ее... в делах, хранящихся по архивам столичным и провинци-

* Продолжение. Начало см.: “Русская речь”. 1999. № 2, 3, 5.

альным, в житиях святых, в рукописных известиях о построении монастырей и церквей, надгробных надписях, родословных книгах, в разных русских древностях, в иностранных сочинениях о России и сопредельных государствах, которые вели с нею войны, заключали союзы, писали договоры" (Пекарский. Указ. соч.).

Исторический департамент должен был собирать подобные источники. Необходимо было позаботиться и о штате, и о прочном каменном доме, где должны были храниться такие материалы. Это учреждение, по мнению Г.-Ф. Миллера, должно было располагаться в Москве, "ибо сей город... за центр всего государства почесть можно" (Там же).

Историограф должен иметь право, писал он далее, просматривать тамошние архивы, но то, что имеется в Санкт-Петербурге и что поступит из коллегий и канцелярий, необходимо привести в порядок. Предполагалось посылать одного из адъюнктов по разным местам России для сбора источников из архивов, которые от "прежних четвертных приказов московских остались" и лучше сохранялись на местах, чем в столице. Нужно было также отыскать архивы Разрядного и Посольского приказов. Такие архивы "от древности и мокроты погнили, мышами и червями съедены или разодраны и побросаны в кучи". С оставшимися материалами именно этих фондов имеют дело современные источниковеды-лингвисты.

В предложении ученого академические власти усмотрели стремление "высвободиться из зависимости Академии", а также излишние расходы и убытки. Поэтому дело тянулось до 10 ноября 1747 года, когда, по определению из Академической канцелярии, Г.-Ф. Миллер был все же назначен государственным историографом с условием принятия им российского гражданства и с тем, чтобы после окончания своей Сибирской истории он принялся за сочинение истории России.

Только 27 сентября 1749 года вновь был учрежден исторический департамент, а 29 января Миллер стал российским подданным. Позднее, в 1762 году он писал И.Д. Михаэлису: "Если кто желает действительно сделать что-нибудь по этой части, то должен он всю свою жизнь посвящать на то и находиться в России при издании в свет своих произведений, потому что всегда накаплиются известия, не попадавшие прежде окончательной обработки. По крайней мере, я это испытал на опыте. Всякая вне России изданная русская история будет наполнена промахами и недостатками даже и в том случае, когда сочинитель знает русский язык и жил некоторое время в России" (Пекарский. Указ. соч.).

В книге Г.-Ф. Миллера "Описание Сибирского царства", вышедшей в 1750 году, в подстрочных примечаниях опубликованы тексты 100 русских грамот из сибирских архивов. Как историку, ему представлялось необходимым привести тексты документов в подтверждение своих научных положений. Это был первый случай издания русских

документальных рукописных материалов (грамот) в России, которые печатались по правилам орфографии XVIII века, гражданским алфавитом, что стало значительным событием в научной и культурной жизни страны.

Г.-Ф. Миллер предлагал в качестве приложения издать еще и переданную им в Библиотеку Академии наук Сибирскую летопись, в которой описывались события от начала похода Ермака. Такое издание было бы значительным шагом вперед для будущих историков и филологов.

Отношение же Академической канцелярии к намерениям и к публикации Г.-Ф. Миллера было резко отрицательным. И.Д. Шумахер писал назначенному в 1746 году президенту Академии наук К.А. Разумовскому: "Понеже из поступка Миллера, который предлагал напечатать летописцы при его истории и оную без нужды наполнил жалованными грамотами, довольно видно, что он никакого другого намерения не имеет, как свою историю увеличить и время проводить, то лучше б и безопаснее было, чтоб летописцы и жалованные грамоты особенно напечатать, показав их наперед в надлежащем месте для апробации, ибо оные – дела такие, о которых рассуждать должны министры или правительствующий Сенат" (Пекарский. Указ. соч.). Даже выступление Г.-Ф. Миллера в марте 1749 года в историческом собрании с Предисловием к "Описанию Сибирского царства", по мнению И.Д. Шумахера, "больше клонится на распространение суетной его (Миллера) славы, нежели к чести президента и Академии" (Там же). Как видим, намерение ученых обнародовать исторические документы в России постоянно встречало препятствия. Однако необходимость публикации рукописных источников со всей очевидностью вставала перед учеными.

В 1755 году Г.-Ф. Миллер начал издание в Санкт-Петербурге журнала "Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие". В февральском номере он писал: "Российские летописи и хронографы, которые для их точности и совершенства особой похвалы достойны (...) Но сего весьма мало печатного находится" (1755. Фев.). Он считал, что "Нестор (...) вместе со своими продолжателями должен быть напечатан": ведь при изготовлении рукописных списков с летописей ошибки неизбежны, и только полное издание позволит от них избавиться. В апрельском номере 1755 года он писал о том, что и как следует издавать: "Татищев сравнил несколько списков и таким образом составил общую летопись (General Chronik). Но читатель желает знать и сам убедиться, сравнены ли различные способы чтения с надлежащею тщательностью, всегда ли избраны лучшие из них. Но это невозможно, если не напечатаны буквально и верно самые списки, почитающиеся лучшими, а из остальных не собраны важнейшие варианты" (Цитируется по: Шлецер. Общественная и частная жизнь А.Л. Шлецера, им самим написанная).

“Ежемесячные сочинения” издавались Г.-Ф. Миллером до времени его переезда в Москву (1767 г.). Они, по его замыслу, должны были подготовить русскую публику к восприятию изданий летописей и других рукописных источников. Высокую оценку этому журналу дал митрополит Евгений (Болховитинов) в “Словаре русских светских писателей”: “Вся Россия с жадностью и удовольствием читала сей первый русский ежемесячник, в котором много помещено иностранных переводных, а большая половина русских любопытнейших статей исторических, географических, коммерческих, ученых и других” (М., 1845). В 1851 году в “Очерке русской журналистики” В.А. Милютин писал: “Ежемесячные сочинения не только приохотили к чтению русскую публику {...} распространили в ней множество полезных сведений и ближе познакомили ее с прошедшим и настоящим состоянием России” (Современник. Т. XXV. Отд. II).

Будучи в России в 1761–1765 годах (вначале как помощник Г.-Ф. Миллера, затем – в качестве адъюнкта Академии), А.Л. Шлецер обнаружил и впоследствии отметил в своих воспоминаниях, что в то время русские люди любили читать книги об отечественной истории и собирать всякого рода хроники. Все монастыри, частные библиотеки, даже ветошные лавки были полны рукописных летописей, но ни одна не была напечатана.

В 1674–1762 годы вышло пять изданий киевского “Синописа” – исторического сочинения о России, который был составлен по данным переписчиков русских летописей, а не по первоисточникам. “Непонятно, как никто ни в Академии, ни вне ее не напал на мысль напечатать одну из бесчисленных летописей так, как она есть”, – писал А.Л. Шлецер (Указ. соч.). По рукам ходило много списков “Истории Российской” В.Н. Татищева, и, по словам А.Л. Шлецера, “многим было удобно тайно почерпать свою мудрость из этого немногим известного источника. Но какая потеря для народа! Какая масса исторических сведений распространилась бы в нем с 1740 до 1760 года, если бы глупость, трусость и личный интерес не воспрепятствовали изданию” (там же).

Даже в 1765 году директор Академической канцелярии И.К. Тауберт ответил отказом на предложение, высказанное теперь уже и А.Л. Шлецером напечатать без всякого вознаграждения принадлежащий Тауберту список сочинения В.Н. Татищева “История Российская”. И только в 1768–1784 годах благодаря стараниям Г.-Ф. Миллера постепенно появились в печати четыре части этого труда.

Понимая всё значение трудов великого ученого, Г.-Ф. Миллер предлагал приобрести для Академии архив, книги и рукописи скончавшегося в 1750 году В.Н. Татищева, но Академия медлила, пока пожар в селе Болдино не уничтожил его наследие.

Из истории политического лексикона XX века

Белогвардейцы, золотопогонники...

А.В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Есть слова, обгаренные кровью истории... Данные обозначения относятся к их числу. Происхождение этих слов со словообразовательной точки зрения не вызывает затруднений: первое образовано от словосочетания *белая гвардия*, второе – от *золотые погоны*. Однако за внешней прозрачной производностью названий стоит их напряженная социальная и культурная история.

Формирование политических коннотаций у слова *белый* шло вслед за появлением у слова *красный* революционных ассоциаций. Красный флаг впервые был поднят в Париже революционерами 20 октября 1789 года. С тех пор он стал символом революции. После крушения империи Наполеона I Бонапарта и кратковременной реставрации с 1814 по март 1815 годов королевской династии Бурбонов (свергнутых в 1792 г.) белый цвет стал ассоциироваться с монархией и королем – в противоположность красному, революционному цвету. Белые знамена (*drapereau blanc*) с лилиями – традиционные символы французской монархии. После окончательного падения монархии Бурбонов в 1830 году символика белого цвета широко использовалась монархически настроенными кругами.

Национальная гвардия во Франции была создана в 1789 году для охраны общественного внутреннего порядка в Париже. Однако еще раньше гвардией стремились обзавестись многие императоры и полководцы. Именно в ней они нередко находили единственную и верную поддержку; так и у слова сформировалось значение “лучшие, элитные войска (обычно для охраны императора, монарха)”.

В России гвардия учреждена в царствование Петра I (в 1698–1700 гг.), образованная из Преображенского и Семеновского полков. Хотя в дальнейшем русская гвардия претерпевала различные изменения, она все-таки сохранилась вплоть до революции 1917 года.

После победы большевиков в октябре 1917 года генералы и офицеры (особенно высшие), присягавшие царю и хранившие воинскую клятву, объявили о необходимости восстановления в стране “законного правопорядка”. Неофициально принятое название *белая гвардия*, очевидно, появилось на русской языковой почве, хотя оно наследовало

французское употребление слова *белый* “монархический”; нам не удалось обнаружить в исторических словарях французского языка выражения *белая гвардия* (*garde blanc*). В русском языке данное словосочетание обозначало группу военных, взявших на себя моральную ответственность за судьбы страны. С их точки зрения, это означало противопоставление “законности” (то есть монархической преемственности в развитии России; часть офицеров допускала ограничение самодержавия), бунтовществу (революции) и бунтовщикам (революционерам). Так, французская политическая ситуация в некоторой степени повторилась на русской почве, однако её последствия были намного глубже. Это хорошо отразил русский язык: словообразовательная и семантическая активность словосочетания *белая гвардия* и его производных в советские годы поразительна.

От этого словосочетания легко образовалось производное – *белогвардеец*. После того как белая гвардия (сначала только костяк вышедших военных) стала регулярной армией, в языке революционной эпохи появилось новое словосочетание – *белая армия* (*белые армии*). От существительного *белогвардеец* и словосочетания *белая гвардия* образовалось прилагательное *белогвардейский*. В первые годы революции в смысле этих производных значимым элементом была сема “вооруженный; ведущий вооруженную борьбу”: “Сталин, ... в грозные годы гражданской войны, по поручению Ленина, во главе армии революционеров крушил белогвардейцев-интервентов” (Большевик. 1936. № 17).

В первые годы после революции *белогвардейский*, *белогвардеец* входили в состав лексики, обязательной для усвоения при прохождении всеобщего (всеобщего военного обучения). В книге Шпильрейна И.И., Рейтынберга Д.И., Нецкого Г.О. “Язык красноармейца. Опыт исследования словаря красноармейца московского гарнизона” (М.–Л., 1928) в опросном списке слов, знакомых красноармейцам или необходимых для их политической грамотности, содержится и слово *белогвардеец*.

После окончания гражданской войны, когда большая часть белогвардейцев оказалась на чужбине, слово *белогвардеец* не только не ушло из языка, превратившись в историзм, но, напротив, даже несколько расширило значение и стало обозначать – 1) того, кто покинул страну в составе белой армии: “Вновь привезенные, еще неученые белогвардейцы тычутся по разным предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд” (Маяковский. Америка, Детройт); 2) вообще противника нового советского социалистического строя, часто завуалированного, скрытого: “В течение нескольких лет группа буржуазных специалистов, замаскировавшихся белогвардейцев вела здесь тайно подрывную работу, стремилась разрушить угольную промышленность Донбасса, выполняя задание бывших собственников предприятий – русских и иностранных капиталистов – и иностранных разведок” (История Коммунистической партии Советского Союза. М.,

1959); 3) в переносном значении – любого сторонника или защитника монархии: “если будете читать суждения [Диккенса] о Великой Французской Революции, то подумаете, что это написано каким-нибудь белогвардейцем” (Луначарский. История западно-европейской литературы. Лекция 12).

Прилагательное *белогвардейский* вступало в сочетание с другими прилагательными: *белогвардейско-эсеровская сплетня* (Ленин), *белогвардейско-эсеровские мятужи* (Краткая биография Сталина), *белогвардейско-бандитские шайки* (Сочинения Фрунзе), *белогвардейско-фашистский выстрел в Кирова* (из газет).

Интересно, что выражение *белая гвардия* было употреблено Маяковским в поэме “150 000 000” в окказиональном значении “то, что препятствует прогрессивному движению социализма”: “Идем, идем [мы, миллионы]!/ Сквозь белую гвардию снегов!”. В этой метафоре образ рождается на стыке прямого номинативного значения прилагательного *белый* “цвета снега” и нового, переносного значения *белый* “антисоветский, антибольшевистский”.

Практически сразу после появления в русском языке словосочетания *белая гвардия* у него появилось производное слово с собирательным значением и резко негативной оценочностью – *белогвардейщина* – 1) совокупность всех белогвардейцев или сторонников монархии, старого режима: “Когда расстроюсь, зубы скрежещут от злости. Не выношу буржуазию и белогвардейщину” (Мирер и Боровик. Революция.); 2) эмигранты, уехавшие за границу с белыми армиями: “Нет, пожалуй, другой страны в мире, где белогвардейщина чувствовала бы себя в таком привилегированном положении, как в империалистической Франции” (Правда. 1932. 8 мая). Суффикс *-щина* в данном слове выполняет, несомненно, экспрессивную функцию, служа прагматическому заданию подчеркнуть, усилить те коннотации, которые содержались в слове *белогвардеец*, но не были видны на словообразовательном (структурном) уровне.

Оценочность видна и в таких производных – *белогвардейка* (женск. к *белогвардеец*), *белогвардейчик* (сын белогвардейца): “Значит она... Значит, Шура разговаривала с настоящей белогвардейкой? Не иначе. Живая, а не газетная и не книжная белогвардейка сидела с Шурой на курортной скамье” (Федин. Похищение Европы); “[Белый генерал] распоряжается военными курсами и кадетскими корпусами, и даже бой-скаутами – сопливыми белогвардейчиками, еле понимающими русский язык” (Правда. 1932. 21 сент.).

Когда в слове *белый* (в составе выражений *белая гвардия* и названия *белогвардеец*) окончательно вычленилось и отложилось значение “контрреволюционный, враждебный советской власти, советскому общественному строю”, в русском языке послереволюционной эпохи началась бурная словообразовательная активность его в составе других

обозначений. Часть их вошла в языковое употребление и попала в словари, другая часть представляла разовые номинации: *белогвардейские* и *беломонгольские отряды*, *белоармейская дизертирская шайка*, *белобандиты*, *белобандитизм*, *белобандитский*, *финские белобрехуны*, *белоармия*, *белодворянский*, *белоденикинский*, *бело-зеленые* (сторонники, члены белого и махновского движения), *белоинтервенционистский*, *белоказачьи отряды*, *белоказачьи полки*, *белокареельцы* (участники белого движения в Карелии), *белокареельская авантюра*, *белокитайцы*, *белокитайские казармы*, *белокулацкий*, *беломахновский*, *белопанская Польша*, *белопольские войска*, *белополяки*, *белополяцкие легионы*, *белофинны*, *белофинские банды*, *белочехи*, *белоземгрантская свора*, *белозсеры*, *белозсерка*, *белозсерский*, *белозстонцы*, *белояпонцы*.

Этот список производных вполне достаточен, чтобы без труда увидеть в прилагательном *белый* новое значение “антисоветский, противостоящий советской власти, советскому государству”, которое возникло на базе коннотации к основному значению “монархический; защищающий монархию и самодержавие”. По сути дела, в политическом контексте это прилагательное замещало все другие названия, служило универсальным номинативным средством, обозначая врага вообще: его использование избавляло от необходимости задумываться об “оттенках” политических оппонентов, искать более точные словесные и политические характеристики.

Русские эмигранты “первой волны” внимательно следили за происходящим на Родине. Непомерное разрастание содержания слов *белогвардеец*, *белогвардейский* в советском политическом дискурсе не могло не изумлять эмигрантов и особенно публицистов и писателей. Один журналист-эмигрант составил большой список заголовков из советских газет 20–30-х годов. Собранные воедино, они дают яркую (не только языковую, но и социальную) картину той эпохи: “Кровавая провокация белобандитов сорвалась”; “Почему белогвардейцы-террористы и их вдохновители на свободе”; “Лицо белобандитского отребья”; “Белогвардейские организации на Дальнем Востоке”; “Белобандиты в Париже”; “Смычка Лиги Наций с белобандитами в Маньчжурii”; “Белобандиты – коллективный организатор убийства Думера”; “Белобандитская свора во Франции как у себя дома”; “Белобандиты – орудие войны против СССР”; “Французский посол уверяет белобандитов в симпатиях своего правительства”; “Расчистить рижские белобандитские трущобы”; “Белобандиты продолжают призывать к террору” и т.д.

Однако среди эмиграции не было единства, и политические оценки и оттенки слов *белогвардейский* и *белогвардеец* сильно зависели от идеологии той или иной партийной группы. Например, анархисты продолжали использование этих слов для обозначения всех сил, противо-

стоящих или борющихся с революцией или советским строем: “Однако, заключив перемирие [с партизанами], японский штаб, как и во Владивостоке, скрыл у себя бывших офицеров колчаковской армии и при их содействии снабжал белогвардейцев в городе оружием и деньгами” (Анархич. вестник. 1923. № 1); “Перелом в настроениях белогвардейско-петлюровской эмиграции, а также внутренней буржуазии и интеллигенции... – все эти явления, факты подтверждают всю правильность нашего анализа государственного коммунизма как контрреволюционного по своей сути и реставраторского по своей тенденции” (Анархич. вестник. 1923. № 7).

Тональность меняется, когда анархическая газета пишет о неоправданном и расширительном – с их точки зрения – употреблении большевиками и коммунистами понятия “белогвардеец” применительно к ним, анархистам: «Как только арестованные [анархисты] были все сконцентрированы в одном месте – коммунистическая пресса возвестила о раскрытом “белогвардейском заговоре” (...) Ничего не может быть гнуснее такого обвинения, – тем более, что обвинители и каратели сами в доброй своей части – бывшие белогвардейцы, примазавшиеся к советско-коммунистическому пирогу» (Анархич. вест. 1923. № 2).

Другим обозначением, бытовавшим в языке той эпохи, было слово *золотопогонник(и)*. Значение его было то же, что у слова *белогвардеец*, однако применялось оно преимущественно к офицерам царской (позднее – белой) армии в первые послереволюционные годы. Семантическая и словообразовательная структура слова прозрачна: от словосочетания *золотые погоны*, по золотисто-желтому цвету ниток, которыми были расшиты погоны офицеров. Номинация совершалась метонимически – переносом названия предмета на человека; таких названий было особенно много после революции, так как метонимия – один из типичных механизмов номинации устной речи, бурно развивающихся в периоды активных изменений в языке (главным образом, в области лексики и коннотаций слов). От словосочетания *золотые погоны* образовались новые фразы: *золотопогонные банды генералов Мамонтова и Шкуро*, *золотопогонные генералы*, *золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов* (из газет). Именно такими эпитетами советская печать часто снабжала обозначения добровольческой армии генерала Деникина. Производное от словосочетания – существительное *золотопогонник*, несущее отрицательную коннотацию: “Партия, профсоюзы, комсомол, фабрики и заводы посылали своих лучших сынов на поле битвы, и они от машины шли на смертный бой с ордами золотопогонников” (Известия ЦИК. 1934. 24 нояб.); “Золотопогонники – /Старого поклонники./ За царя идут, скоты./ Против вольной бедноты” (Известия ЦИК. 1934. 26 нояб.).

Очевидно, именно политический характер слова обеспечил ему место в “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова, где

оно помещено (Т. 1. Стлб. 1115) с пометой *нов.(ое) презрит. (ельное)*. Интересно, что в словаре не отмечается прилагательное *золотопогонный*. Несомненно, использование существительного *золотопогонник* поддерживалось смысловой отсылкой к слову *белогвардеец*, хотя после окончания гражданской войны ни о каких золотопогонниках уже нельзя было говорить: все “золотопогонники” или погибли, или попали в лагеря, или были уничтожены, или осели за границей.

Эмигранты, пытавшиеся разобраться в причинах произошедшей трагедии, вновь и вновь возвращались к старому, уже навсегда утраченному. Бежавшие в 1934 году из Советского Союза братья Солоневичи своими остро публицистическими книгами будили совесть или задремавшее чувство патриотизма эмигрантов. В одной из статей (“Этюды оптимизма”; публиковалась в газете “Голос России”) И. Солоневич так характеризовал появление понятий *белогвардеец* и *золотопогонник* в русском языке: «Октябрьская революция почти автоматически прекратила эту [Первую Мировую] войну. Большевики сыграли именно на золотопогонниках, которые-де “во имя акул мирового капитализма” гонят на бойню трудящиеся массы. Безмерно усталым, плохо грамотным русским массам – был брошен лозунг “Долой войну! Вся власть Советам!” Русский офицер восстал против этого лозунга и был объявлен “белогвардейцем”. Так были сформулированы и так были брошены в массу оба этих термина: “золотопогонник” и “белогвардеец” {...} “Золотопогонники” настаивали на том, что в мировой войне нам нужно драться до конца, и в подтверждение своих настояний несли на фронт и свои же собственные жизни. В 1917 году Россия не додралась, и теперь ей приходится драться пока что до 1937 года, то есть лишних двадцать лет, с весьма неясными перспективами на тему о том, сколько же еще лет придется драться дальше».

Использование слов *белогвардейский*, *белогвардеец*, *золотопогонник* эмигрантами было вызвано чаще всего цитированием советских газет, поэтому эти обозначения преимущественно употреблялись в кавычках, показывая их несобственно-номинативный для эмигрантских изданий прагматический статус и отсылая к “советскому варианту” русского языка. В языке советской эпохи эти слова часто служили конструктивным элементом политического дискурса, изначально задавая политический “образ врага” и формируя коннотации его постоянно изменяющегося облика. Борьба с белогвардейцами легко перерастала в борьбу сначала с политическими оппонентами, а затем и с любым инакомыслием.

Сейчас о понятии и слове *белогвардеец* вспоминают как об историзме, уже давно ушедшем из языка. Например, в “Толковом словаре русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово дается с хронологической “привязкой”: “в годы гражданской войны: член белой гвардии русских военных формирований, сражавшихся за восстановление за-

конной власти в России". Однако парадокс жизни слова в русском языке в том, что в наше время оно вдруг снова всплыло в современном употреблении. Поиски политической, психологической, национально-государственной опоры в нашем "смутном времени" идут в разных направлениях, и одно из них – в старой, дореволюционной России. Вот почему некоторые вновь вспомнили о белом движении и белогвардейцах: "Белое движение сплотило в своих рядах людей различных политических ориентаций – от монархистов до дэсовцев" (Коммерсант. 1992. 8–15 июня); «Омские белогвардейцы мечтают о власти. Но взять её нынче тяжело, ведь в Законодательном собрании Омской области всего 30 мест. Главное – подобрать кандидатов-патриотов. Мы не будем блокироваться ни с коммунистами, ни с "Выбором России", – заявляет начальник отдела пропаганды белого движения России Олег Томилов» (Комс. правда. 1994. 16 февр.).

Разумеется, сейчас эти понятия и слова уже не определяют современного языкового и политического сознания людей, однако их возрождение некоторыми политическими группами весьма показательно: эти понятия еще не ушли в небытие и у них в конце XX века опять происходят семантические и прагматические сдвиги. Их смысловое наполнение связано с попыткой реконструкции идеологии и политики дореволюционной России с поправкой на современность. Такое восстановление понятия можно назвать "исторической реставрацией", хотя очевидно, что оно останется на периферии общественной мысли. Их прагматическая направленность также ясна: политические оценки идеологии белого движения в массовом сознании поменялись на противоположные (или, по крайней мере, на нейтральные) в сравнении с советским временем. Связано это с изменением общественно-социальных коннотаций, окружающих понятие и сопутствующих его возрождению как в языковом, так и в идеологическом плане.

Таким образом, у слова *белогвардеец* в XX веке прагматические коннотации в советском и эмигрантском языке находились на разных полюсах. Сейчас полярность оценок хотя и сохраняется, однако уже лишена уничтожающего друг друга безусловного отрицания. Слова *белогвардеец*, *золотопогонник* – хорошие иллюстрации сложного диалектического взаимодействия общества и языка: власть языка трансформируется в язык власти.

Санкт-Петербург



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Сясьские Рядки. Поселок в Ленинградской области в нижнем течении реки Сясь, известный с XVI века. Название довольно прозрачно: первая часть – прилагательное к *Сясь*; вторая – *Рядки* – восходит к апеллятиву *рядки* “торговые лавки, слобода с такими лавками” (Даль. Т. IV). Топонимы со второй частью *Рядки* неоднократно встречаются в северо-западном регионе Центральной России, в частности, в Новгородской области.

сяськовцы, сяськовец и сяськорядковцы

Сясьстрой. Поселок городского типа в Ленинградской области на реке Сясь. Возник в связи со строительством первого в Советском Союзе целлюлозно-бумажного комбината в 1928 году. Первая часть названия по реке *Сясь*; вторая – *строй* – усеченная форма от *строительство*, часто использовалась в названиях населенных пунктов, возникших в связи со строительством какого-либо объекта. Ср. город *Волховстрой* (совр. *Волхов*) в Ленинградской области и др.

сясьстроевцы, сясьстроец

сясьстроевский, -ая, -ое

Таврѳово. Село в Воронежской области на реке Тавровке (л.пр. р. Воронеж). Оно известно как деревня Тавровка не позже 1605 года. При Петре I здесь была сооружена верфь, и деревня получила именование *город Тавров с Морской и Солдатской слободами* (до 1779 г.). Назва-

* Продолжение. Начало см. Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. №№ 1–5.

ние дано по реке Тавровке, получившей свое имя, возможно, по тому, что здесь *таврили лошадей*: ставили тавро (выжигали тавро – именной тавровый знак владельца), именную букву.

тавро́вцы, тавро́вец

тавро́вский, -ая, -ое

Тага́йка. Деревня в Воронежской области на реке Тагайке. Она известна в документах 1787 года. Название дано по речке Тагайке, наименование которой происходит от тюркского *такау* “подкова”. Действительно, речка имеет извилистое русло и местами напоминает подкову (Прохоров. Вся Воронежская земля).

тага́йцы, тага́ей

тага́йский, -ая, -ое

Тайга́. Поселок в Нижегородской области. Название получил от своего расположения: в густом лесу, напоминающем тайгу. Слово *тайга* по мнению Э.М. Мурзаева, в значении “таежная зона, таежная почва, светлохвойная тайга с преобладанием лиственницы, сосны; темнохвойная тайга с господствующими видами кедра и пихты” заимствовано из тюркско-монгольских языков (Мурзаев. Словарь народных географических терминов).

тайги́нцы, тайги́нец

тайги́нский, -ая, -ое

Тайцы́. Поселок в Ленинградской области на реке Тайца, которая дала имя этому поселку. В основе гидронима местное диалектное слово *тайцы* “подземные, скрытые воды” (Кисловский. Знаете ли вы? Словарь географических названий Ленинградской области). Этот факт подтверждается и тем, что в реке много родников, ключей, которые бьют из земли и питают ее.

В селе сохранился замечательный архитектурный ансамбль XVIII века. В 1774 году здесь был сооружен “тайцкий” водопровод, по которому вода от ключей шла к Царскосельскому и Павловскому паркам. В середине XVIII века село принадлежало прадеду А.С. Пушкина – А.П. Ганнибалу.

тайцо́вцы, тайцо́вец

тайцо́кий, -ая, -ое, тайце́вский, -ая, -ое

Тала́шкино. Поселок в Смоленской области. В основе названия, вероятно, фамилия первопоселенца или одного из владельцев. Сама фамилия прозвищного происхождения от *талашка* “суетливый, беспокойный человек”: *талажиться* – “суетиться, толочиться, метаться” (Даль. Т. III).

Талашкино – известный центр развития русских художественных промыслов, бывшее имение просветителя-мецената Марии Клавдиевны Тенишевой (1867?–1928). По ее инициативе здесь, точнее на хуторе Флёново, были созданы художественные (керамическая, резная, вышивальная) и столярные мастерские. Сохранились замечательные памятники русской архитектуры и изобразительного искусства, создан-

ные С.В. Малютиным, Н.К. Рерихом и другими известными деятелями русской культуры. В настоящее время здесь находится филиал Смоленского исторического и архитектурно-художественного музея-заповедника.

тала́шкинцы, тала́шкинец

тала́шкинский, -ая, -ое

Талдом (1925). Город в Московской области. С 1918 по 1922 годы носил название *Ленинск*. В XVII веке в источниках упоминается как деревня *Талдом*. Известны предположения о финно-угорском и тюркском (татарском) происхождении топонима. Некоторые исследователи склонны видеть в его основе прозвище *Талдон* (из *Долдон*). Не исключено, что топоним представляет собой трансформированное словосочетание *талый дом*.

Интересным и убедительным представляется предположение А.И. Попова о том, что топонимы на -дом (*Шушкодом*, *Тюхтедомово* и др.) имеют мерянское происхождение: мерянские -едом, -одом, вероятно, означают какой-то вид уголья и связаны с северными диалектными -едома, -эдома “лесок около селения” или “отдаленное место, отдаленный лес” (Попов. Топонимика древних мерянских и муромских областей).

та́лдомцы, та́лдомец и талдомча́не, талдомча́нин

та́лдомский, -ая, -ое

Талдомцы – башмачники. Речь идет об основном занятии жителей – изготовлении башмаков, кожаной обуви.

Таловая. Название поселка и деревни в Воронежской области. Поселок получил свое именование по реке Таловая, на которой расположен, а деревня – по Таловой вершине (оврагу), около которой она находится. Речка и овраг названы по обширным зарослям тальника на берегах. Поселок получил название по близлежащей железнодорожной станции Таловая (по р. Таловая). Ср. село *Талы* в той же области на реке Богучарке, получившее свое имя по зарослям тальника.

та́ловцы, та́ловец

та́ловский, -ая, -ое

Тамбов (1636). Город, центр Тамбовской области. Основан как укрепление на юго-восточных рубежах Русского государства на реке Лесной Тамбов, которая и дала название городу. Относительно названия реки (и города) существуют несколько предположений. Большинство исследователей (Никонов. Краткий топонимический словарь; Мурзаев. Указ. соч.) считали, что в основе гидронима мордовское слово *тамбов* “омут, яма, углубление”. Ср. родственные *томбака* “омут”, *томбакс* “топкий”. Не исключается и древнефинское “дуб”. Исследователи тамбовской топонимии И. Дубасов и Б. Зимин расширили круг предположений и связали гидроним с мордовским *томба* “священный берег, откуда спускали на воду жертвенные костры”, а также с финским *тамба*

“горячий, смолистый пень, употребляемый в Карелии при жатве в лесистой местности или на вырубках” и даже с мордовским *тамбас* “мять, толочь”. Название *Тамбов* не единично на Тамбовщине. Современное село Бокино в документах 1623 года именуется как село *Тамбов* и село *Тонбов*. В соседней Воронежской области – поселок *Тамбовка*, основанный в 1922 году назван по оврагу Тамбовочки (возможно, от *тамбов* “яма, углубление, омут”). Не лишено интереса название притока реки Тамбов – *Нару Тамбов*. См. *Нерль, Нара*.

тамбóвцы, тамбóвец, тамбóвка и тамбóвчане, тамбóвчанин,

тамбóвчанка

тамбóвский, -ая, -ое

Тамбовцы – молоканы. Речь идет о секте православных христиан – молоканах, которых особенно много было в Тамбовской губернии.

Танцырѐй. Село в Воронежской области. Оно известно с 1730 года и было основано однодворцами. Название дано по реке Танцырейка и не связано с легендой о танцах некоей цыганки Реи (Прохоров. Указ. соч.).

танцырѐ́цы, танцырѐ́ец

танцырѐ́йский, -ая, -ое

Тара́споль. Татарский поселок в Республике Мордовия. Он был основан в 20-е годы XX века. Название можно расшифровать так: *Тарас* и *поле*. Земля, на которой обосновался поселок, принадлежала Тарасу и называлась *Тарасово Поле* (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

тара́спольцы, тара́сполец

тара́спольский, -ая, -ое

Тарка Ма́лая. Деревня в Нижегородской области; *Тарка Большая* – северная часть города Павлова в той же области. Оба названия даны по реке Тарка, на которой они находятся. Гидроним *Тарка* производят от эрзянского *тарка* “селение, поселок”.

та́рковцы, та́рковец

та́рковский, -ая, -ое

Тару́са (1246)*. Город в Калужской области. Название дано по реке Таруса, при впадении которой в Оку было основано селение. Известны другие формы этого гидронима: *Таруса*, *Чаруза*. Перспективной представляется финно-угорская версия, хотя известна попытка связать его с балтийским *Таг. Ср. литовский гидроним *Taruškai*, иллирийский *Tarus* (Топоров. Трубаев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья). Обращает на себя внимание повторяемость гидронимов с основой *Тар-* (*Тар-уса*) в бассейне Оки: река Таруса – в бассейнах Нары и Каширки; *Тарка*, *Тариха*, *Таркалей* – в нижнем Поочье и бассейне Мокши. Во всех этих случаях легко и убедительно вычленивается *Тар-*: *Тар-ка*, *Тар-иха*, *Тарка-лей*. Важно и то, что гидроним находится в ареале гидронимии финского происхождения и, в частности, на

-ус (-ос): река *Киструс* (*Кистрос*), озера *Тынус*, *Пымлос* и др. Ареал гидронимии этого типа совпадает с территорией муромских могильников, а население этих территорий было финно-язычным.

Таруса с конца XIX века является культурным центром, тесно связанным с именами известных художников и деятелей культуры. Здесь в окрестностях работали художники Борисов-Мусатов, Богаевский и др.; писатели – Чехов, Цветаева, Паустовский и др.

тарусяне, тарусянин, тарусянка; тару́сцы, тару́сец; *устар.* тарушане, тарушанин

тару́сский, -ая, -ое

В Тарусе петух кричит на три губернии (Калужскую, Тульскую и Московскую). Имеется в виду тот факт, что Таруса расположена как бы на стыке этих областей (в прошлом – губерний).

Тарха́ново. Русское село в Республике Мордовия. В XVII веке селений с таким названием было несколько. Как свидетельствует И.К. Инжеватов, “тархановские” топонимы встречались по всей юго-восточной границе Русского государства от Тамбова до Васильсурска. Жители этих поселений участвовали в охране границы, за что освобождались от некоторых податей, получали *тарханные грамоты* и назывались *тарханами*. Слово *тархан* тюркского происхождения – “освобожденный от податей в Казанском и других ханствах” (Инжеватов. Указ. соч.) Позже *тархан* – что скупщик и продавец по деревням холста, льна, пеньки, шкур, щетины и мелочного товара; прасол (Даль. Т. IV).

Современные топонимы Мордовии *Тарханская Потьма* (*потма* – мокшанское – “дальнее место в лесу, глубинка”), *Тарханы*. Такого же происхождения и название села *Тарханы* в Пензенской области, тесно связанного с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова (см. *Лермонтово*). Аппеллятив *тархан* активно ведет себя в ономастике. В XVI веке уже известно прозвище *Тархан* и фамилия *Тарханов*: Тархан Григорий, крестьянин, 1586 г., Арзамас; Тарханов Петр, Царский истопник, 1573 г. (Веселовский. Ономастикон).

тарха́новцы, тарха́новец

тарха́нский, -ая, -ое; *устар.* тарханний, -ая, -ое

Тати́нец. Село в Нижегородской области на Волге. Потомственное село водников. В основе названия исследователи видят слово *тать* “человек, склонный к воровству; вор”. Село Татинец в XVII–XVIII веках считалось воровским местом. Местные жители грабили волжские суда (Трубе. Как образовались географические названия Горьковской области). Прозвище от слов *тать* и *татище* известны с XV–XVI веков: Татище Василий Юрьевич, вторая половина XV в., Дмитров, от него Татищевы; кн. Тать Иван Федорович Ряполовский, ум. в 1549 г., от него князья Татевы (Веселовский. Указ. соч.).

тати́нцы, тати́нец

тати́нский, -ая, -ое

Тати́нец да Слони́йнец (соседнее село) *всем вора́м корми́лец*.

Тата́рино. Село в Воронежской области. Оно известно с XVIII века. Первые поселенцы появились здесь в 1711 году на двух балках: *Красной* (красивой) и *Студеной* (с холодными родниками). Впоследствии селение стало называться *деревней Татарино* по находившемуся рядом *Татарину липягу* – небольшому леску (Прохоров. Указ. соч.). Вероятно, название *липяга* отражает этническую принадлежность его владельца – некоего татарина.

тата́ринцы, тата́ринец

тата́ринский, -ая, -ое

Тверди́слево. Деревня в Костромской области, известная с XV века. По мнению исследователей, в основе этого названия древнее славянское личное мужское имя *Твердислав*, т.е. “твердый, постоянный в своей славе”, широко известное в новгородских документах. Первоначальная форма топонима *Твердиславль*, т.е. притяжательное прилагательное от этого имени, образованное при помощи суффикса -j- (по типу *Ярославль*). Более поздняя – *Твердиславлево*, зафиксированная в официальном документе 1895 года (Белоусов. Славонеж. Жирослево. Твердислево) // *Русская речь*. 1970. № 2). Современная *Твердислево*, несомненно, возникла под влиянием основного русского топонимического типа на -ово, -ево. Название обязано новгородской колонизации, начавшейся в XI–XII веках, когда новгородцы начали активно заселять пустующие земли к востоку от Белого озера – Заволочье. Вероятно, некто *Твердислав* был основателем или одним из владельцев этого селения и дал ему свое имя. В первой половине XIV века известна фамилия *Твердиславич*: *Твердиславич Федор*, посол Великого Новгорода в Москву, 1334 г. (Веселовский. Указ. соч.).

тверди́словцы, терди́слевай

тверди́словский, -ая, -ое

Твердохле́бовка. Село в Воронежской области. Название дано по фамилии переселенца Леонтия *Твердохлебова*. Первоначально это был хутор *Твердохлебов*. Село связано с родственниками А.П. Чехова – здесь жила тетка писателя и дед Егор Михайлович Чехов, которые в этом селе и похоронены (Прохоров. Указ. соч.).

твердохле́бовцы, твердохле́бовец

твердохле́бовский, -ая, -ое

Продолжение следует



Пословица в повести “Капитанская дочка”

Г.Ф. БЛАГОВА,

доктор филологических наук

А.С. Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка потому, что в своём творчестве он широко опирался не только на литературную, но и на устную традицию, народную речевую культуру. Как говорил А. Мицкевич, “пускал корни в родную почву” (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 129). “А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался...”, – описал В.И. Даль в “Толковом словаре живого великорусского языка” (М., 1978. Т. I. С. XIII).

Поэт был убеждён: “Разговорный язык простого народа (...) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвириям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком” (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1949. Т. XI. С. 148–149). Сам же Пушкин, по свидетельству современников, хаживал на ярмарку при Святогорском монастыре (“в девятую пятницу перед Петровками”): “... придёт в народ, тут гулянье, а он сядет наземь, соберёт к себе нищих, слепцов, они ему песни поют, стихи сказывают” (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 463, 465). О том же писал и А. Мицкевич в “Биографическом и литературном известии о Пушкине”: “... он ныне (то есть в свои 30 лет. – Г.Б.) более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение отечественной истории” (Там же. С. 128–129).

Малый фольклорный жанр – пословицы, поговорки, присловья – также привлекают внимание поэта, прежде всего в 1824–1825 годы, во время работы над “Борисом Годуновым” и позднее – при создании прозаических произведений. По свидетельству А.Н. Вульфа, «от игумена Святогорского монастыря Пушкин позаимствовал поговорки, вставленные в “Бориса Годунова”, именно в ту сцену, которая происходит в корчме на границе: Наш Фома / Пьёт до дна, / Выпьёт – да поворотит, / Да в донушко поколотит... – т.д.» (Там же. С. 448). Соранились записи пословиц, сделанные Пушкиным в разное время.

Особенно насыщена пословицами языковая ткань “Капитанской дочки”. В кратком заключении Пушкин называет свою повесть (в авторской версии – “роман”) “записками Петра Андреевича Гринёва”. Рукопись была якобы доставлена издателю от одного из внуков Гринёва: тот узнал, что издатель занят “трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом” (то есть “Историей Пугачёва”. На самом же деле, как писал Пушкин цензору, “роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачёвские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушёл далеко от истины”).

В соответствии с литературной версией, издатель ограничил своё участие в “продвижении” рукописи Гринёва лишь тем, чтобы, “с разрешения родственников, издать её особо, приислав к каждой главе приличный эпиграф...”. Среди этих приисканных эпиграфов больше всего фольклорных – фрагменты старинных песен, народных, солдатских, свадебной (последняя – переделка народной песни, записанной Пушкиным в Михайловском). Используются и эпиграфы-пословицы. Важнейший из них – “Береги честь смолоду” – выражает основную мысль и настроение “записок Гринёва”. Пословицы выступают в качестве эпиграфов к гл. VIII “Незванный гость” (“Незванный гость хуже татарина”; ср. у В.И. Даля в его “Толковом словаре”. Т. I. С. 386; далее – только том и стр.) и к гл. XIV “Суд” (“Мирская молва – морская волна”; у Даля: “Молва людская, что волна морская” – II, 347).

Выдавая свою повесть за “чужие” записки, Пушкин сокращал расстояние между речью действующих лиц и авторской. Это выразилось прежде всего в том, что “записки Петра Андреевича Гринёва” написаны языком простым и ясным, без затей. “Анонимность” позволила Пушкину обогатить пословицами язык Гринёва-рассказчика (как, впрочем, и Гринёва-отца). Вот примеры их введения в авторскую речь: “*Семь бед, один ответ*” (по поводу изгнания мосея Бопре от Петруши, гл. I; здесь и далее в пословицах курсив наш. – Г.Б.); в авторской характеристике “старинной” знакомой молодого Гринёва, Палашки: “*девка бойкая, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке*” – гл. XII; см. у Даля: “Он по чужой дудке пляшет” (I, 499). А в “Пропу-

щенной главе” (она не печаталась по цензурным соображениям) в авторской речи употреблена пословица редкая, в современном обиходе не встречающаяся: “Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим *чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка*”.

В речи действующих лиц пословица, естественно, представлена неравномерно; часто, но не всегда это зависит от социального положения того или иного персонажа. Лаконичное прощальное напутствие Гринёва-отца, например, облечено в пословичную форму (у тюркских народов пословица именуется “отцовским словом”): “... На службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду (гл. I; ср. у Даля: “На службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся – IV, 224); “Береги платье снову, а здоровье (а честь) смолоду” (I, 84). И недаром именно с “отцовским словом” связан эпиграф ко всей повести – “Береги честь смолоду”. В письме к старинному товарищу и другу генералу Р., на службу к которому Гринёв-отец отправил сына, он советует “держатъ в ежовых рукавицах” своего повесу (гл. II); в “Пропущенной главе”: “Ну, добро: повинную голову меч не сечёт”; ср. у Даля: “Покорной головы (или: повинную голову) и меч не сечёт” (II, 324). Надо сказать, что в речи других персонажей дворянского происхождения (Швабрин, Зурин, Маша Миронова и др.) пословицы вовсе не встречаются. Зато они многочисленны и уместны при создании характеров из простолюдины.

Богата “красным словом” речь Пугачёва. В гл. II “воровской разговор” Пугачёва и хозяина постоялого двора построен на пословицах, поговорках, присловьях. На вопрос хозяина: “Отколе Бог принёс?” “вожатый (...) отвечал поговоркою: “В огород летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?” – “Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечеру звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте”. – “Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов”»; ср.: “Поп своё; а чёрт своё и “Будет дождик – будут грибы, а будут грибы, будет и кузов” (Избр. пословицы и поговорки русского народа. М., 1957. С. 45, 158). Почти в каждой главе, где появляется Пугачёв, звучат его пословицы: “Я чаю, *небо с овчинку показалося*”, “*Кто ни поп, тот батька*” (гл. VIII), “*Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдёт*”, “*Долг платежом красен*”, “*Утро вечера мудренее*” (гл. XI), “*Закусим, запьём – и ворота запрём!*” (у Даля: “Запьем, так и ворота запрем” – I, 245), “*Казнить так казнить, жаловать так жаловать*: таков мой обычай” (гл. XII).

И Савельич скажет – как припечатает: “*Так-то: зашёл к куме, да засел в тюрьме*” (по поводу первой встречи с Зуриным, гл. II; ср. у Даля:

“Пошёл к куме, а засел в тюрьме” – I, 632), “*Быль молодцу не укора: конь о четырёх ногах, да спотыкается*” (из письма к барину, гл. III; см. также гл. IX; кроме того, об этой пословице см. ниже); “*А с лихой собаки хоть шерсти клок*” (гл. IX), “*Из огня да в полымя*” (гл. XIII).

Капитанша Василиса Егоровна в немногих своих речах также не обходится без “красного слова”: “*На грех мастера нет*” (о Швабрине, гл. III), “Девка на выданье, а какое у ней приданое? *частый гребень, да венник, да алтын денег* (прости Бог!), с чем в баню сходить” (о Маше, гл. III).

Эпизодичны такие персонажи, как кривой старичок в офицерском мундире Иван Игнатьич или ямщик, но и их речь ярко характеристична благодаря использованию пословиц. Иван Игнатьич: “Брань на ворота не виснет” (у Даля – тоже; I, 245), “Худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров” (по поводу дуэли Гринёва и Швабрин, гл. III; ср. у Даля: “Худой мир лучше доброй драки” – IV, 568). Ямщик: “Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой” (гл. II; ср. у Даля: “Лошади чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!” – IV, 613). С фольклорной образностью выражается Хлопуша в споре с Белобородовым: “Конечно, (...) и я грешен, и эта рука (...) повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в тёмном лесу, не дома, сидя за печью; кистенём и обухом, а не бабьим наговором” (гл. XI).

В речи героев “Капитанской дочки” пословицы, как и в народном их употреблении, живут своей обычной жизнью, претерпевая, например, ситуативное развёртывание и компрессию (то есть ужатие; ниже курсивом показаны те части пословицы, которые подвергаются ужатию, либо за счёт которых происходит развёртывание пословицы). Ср.: Береги честь смолоду (эпиграф) – *Береги платье снову, а честь смолоду* (Гринёв-отец, гл. I); Худой мир лучше доброй ссоры, *а и нечестен, так здоров* (Иван Игнатьич, гл. III).

Казалось бы: ну, пословицы, да при этом некоторые из них ещё и повторяются! ... Но ведь, согласитесь, не возникает ни скуки, ни пресыщения. Причин несколько. Во-первых, в них отразилось замеченное Пушкиным врождённое свойство русского народа: “отличительная черта в наших нравах есть какое-то весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться...” (А.С. Пушкин об искусстве: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 296). Во-вторых, нередко они организуют меткое попадание в описываемую ситуацию (см. хотя бы “воровской разговор” Пугачёва с хозяином постоялого двора).

В-третьих, пословицы часто соответствуют характеру персонажа (ведь уж как охарактеризованы пословицей “те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, (...) люди жесткосердые, коим *чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка*”), линии его поведения. Так, Савельич дважды употребляет пословицу “Конь и о четырёх но-

гах, да спотыкается” (в разговоре с Пугачёвым, гл. IX), а в письме к старому барину, стремясь оправдать Петрушу, для вящей убедительности соединяет с этой пословицей другую: “*Быль молодцу не укора*: конь и о четырёх ногах, да спотыкается” (гл. V; ср. у Даля: “Конь о четырёх ногах да спотыкается” – IV, 298, II, 155; “*Быль молодцу не укора*” – I, 148). Такой яркий штрих к образу Пугачёва, как его бесшабашная удаль, Пушкин передаёт с помощью найденного им эмоционально выразительного варианта пословицы: “Закусим, запьём – и ворота запрём!” (гл. XII). У Даля зафиксирован нейтральный вариант: “Запьём, так и ворота запрём” (I, 245); добавление однородного сказуемого *закусим* в первой части этой двухчастной пословицы и опущение относительного местоименного наречия *так* во второй части существенно меняет ритмическую структуру пословицы.

Как сказал А. Мицкевич: “Его проза изумительной красоты. Она беспрестанно и неприметно меняет краски и приемы свои” (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I. С. 131), и пословицы – одна из контрастнейших красок в прозе Пушкина, недаром поэт считал, что язык народа “гибок и мощен в своих оборотах и средствах” (А.С. Пушкин об искусстве. Т. I. С. 186).

Пословица в “Капитанской дочке” – это “заветное слово” персонажа, которое удалось уловить Пушкину. Когда Пушкин прибегает к пословице, он говорит так, что “соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами” (Н.В. Гоголь).

Благодаря использованию “красного слова” полнее раскрывается специфика повести, а именно – изображение народной жизни, народных характеров, образа мысли народа в драматический период российской истории.

Народная пословица своей лаконичностью, живописностью, весёлым лукавством ума органична для творчества Пушкина, который и в прозе оставался поэтом. О пушкинском чуде сжатой формулировки Гоголь писал: “В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт”.

За знакомой строкой

Читая Пушкина... или Слово в защиту шаматона

Г.К. ВАЛЕЕВ,
кандидат филологических наук,
И.Г. ДОБРОДОНОВ,
доктор филологических наук

“ – Был бы гвардии он завтра ж капитан.
– Того не надобно; пусть в армии послужит.
– Изрядно сказано! Пускай его потужит...
..... ”

Слова Я.Б. Княжнина, передающие в качестве эпиграфа идею первой главы повести “Капитанская дочка”, затем почти дословно повторяются в тексте и уточняются.

Отставной премьер-майор Андрей Петрович Гринев потребовал пера и бумаги, чтоб отписать письмо будущему начальнику Петруши. Мать Петруши, Авдотья Васильевна, резонно полагая, что пишется письмо в Петербург князю Б., командиру Семеновского полка, близкому их родственнику, осмелилась напомнить: “ – Не забудь, Андрей Петрович, поклониться от меня князю Б., я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

Старый слуга сказал как обрезал:

– ... Петруша в Петербург не поедет, чему научиться он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай, послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает порошу, да будет солдат, а не шаматон”.

Кто такой шаматон? Почему старый солдат предпочел службе в гвардии в Петербурге своего единственного сына глухой, богом забытый гарнизон?

У А.С. Пушкина мы прямого ответа не найдем. В его сочинениях слово *шаматон* используется только единственный раз – в “Капитанской дочке”.

Общее содержание контекста, словесное окружение в известной мере примиряют нас с достаточно категоричным определением слова *шаматон* авторитетного “Словаря языка Пушкина” (М., 1961. Т. IV) – “шалопай”, бездельник”, восходящим к формуле “Толкового словаря русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова (М., 1940. Т. IV). Это же определение с изменением порядка слов – “бездельник, шалопай” – повторяется и в академическом 17-томном “Словаре современного русского литературного языка” (М.–Л., 1965).

История слова *шаматон*, по “Воспоминаниям об И.А. Бодуэне де Куртенэ” В.И. Чернышева, интересовала их обоих: “Я, между прочим, спрашивал его о происхождении слова *шаматон*, указывая на его употребление в 1-й главе “Капитанской дочки” Пушкина. Я думал, что это французское слово. Бодуэн де Куртенэ не подтвердил моего мнения (?!). Слово это он потом включил в Словарь Даля “ (Чернышев В.И. Избранные труды в 2-х томах. М., 1970. Т. II) со значением “прощельга, фат, пустой человек”, но без этимологии (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е испр. и знач. дополн. изд. под редакцией И.А. Бодуэна-де-Куртенэ. СПб., М., 1909. Т. IV).

Слово *шаматон*, в принципе, синонимично толкуется и в старом “путеводителе по Пушкину” – “мот, гуляка, пустой человек” (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М.–Л., 1931. Т. VI).

Итак, доминантой для словарных дефиниций слова *шаматон*, которое попало в поле зрения лексикографов только в XX веке, является оценочное, лишенное материального содержания, эмоциональное “бездельник”.

Загадочное именование человека *шаматон* (чаще *шематон*, иногда *шамотон* и *шиматон*) употреблялось еще до Пушкина. В “Воспоминаниях старого театрала” С.П. Жихарева воспроизведено восклицание А.А. Шаховского в связи с активными попытками Г.Р. Державина поставить свою трагедию “Евпраксия” (1808): “Это все, братец, ваши затеи с К[усовым Сергеем Ивановичем], а старику и в голову бы не пришло ставить трагедию; шематоны вы такие!” (Жихарев С.П. Записки современника. М.–Л., 1955). Большие литературные достоинства мемуаров С.П. Жихарева сочетаются в них с выразительностью и тонкостью языка и позволяют считать это употребление таинственного слова *шематон* вполне достоверным. Оно уже в написании *шаматон* употреблено в неоконченной комедии Н.И. Хмельницкого, начатой в 1819 году и частично напечатанной в 1829 году в альманахе Е.В. Аладына “Букет”;

[Лихвина]: Кто же ей понравится из этого числа?

Ей надо, чай, Князей, да Графов, да Баронов,

Она с ума сошла

От петербургских шаматонов.

Хмельницкий. Арзамасские гуси

В послепушкинское десятилетие слово *шематон*, именно такой орфографический вариант становится господствующим, широко использовалось в разных слоях общества. Известно оно было аристократическим кругам Петербурга: “– А! Здравствуй батюшка. Каким ветром занесло? Так изважничался, что глаз к нам не кажешь! Говорят, сделался шематоном!” (Сологуб В.А. Большой свет (1840)/ Повести и рассказы. М., 1988). Оно бытовало и в городской мещанской среде: “[Сокова]: – Что за сорванцы? Ну что вам?... Вижу, вы шематоны какие-

нибудь: убирайтесь-ка по-добру по-здорову (затворяет окно)” (Лажечников И.И. Дочь Еврея // Отечественные записки. Январь. Т. LXII).

Фактический материал, извлеченный из художественной литературы и лишь частично зафиксированный в словарях, важен лишь с точки зрения хронологической фиксации, но информативно малоценен, так как полностью относится к речи персонажей и ничего не дает для уяснения первоначального, вещественного, а не вторичного, оценочно-го смысла слова *шаматон*.

Оно уже неоднократно становилось предметом лингвистического анализа. К.А. Чекалов в статье “Да будет солдат, а не шаматон...” (Русская речь. 1986. № 4), пришел к выводу, что в русской литературе XIX века слово имело даже более негативный, чем бездельник, оттенок – “прощельга, проныра” и “воспринималось как оскорбительное, уничижительное и, кроме того, по-видимому, оценивалось как галлицизм”.

Разъяснить семантику загадочного *шаматона* могла бы достаточно точная расшифровка его происхождения, находки более ранних его фиксаций, не обремененных эмоциональными, образно метафорическими переносами, причем не в речи героев, а в авторской передаче, и, возможно, текстовое или синонимическое его пояснение в произведениях.

Из этимологий, предложенных для слова *шаматон* А.Н. Чудиновым, А.А. Потемной, Н.В. Горяевым, В.И. Чернышевым, М.И. Михельсоном, В.П. Воробьевым, наибольшей популярностью среди комментаторов литературных текстов пользуется толкование А.М. Финкеля (О слове *шаматон* в русском языке // Этимологические исследования по русскому языку. Под ред. Н.М. Шанского, М., 1963. Вып. IV), рассматривающего его как суффиксальное образование от французского глагола *chôter* “бездействовать, бездельничать, праздновать”.

Наличие созвучных и семантически близких к слову *шаматон* лексем в русских диалектах со значениями “ветренный, суетливый, непоседливый, вертлявый...” позволяет думать, что произошло народноэтимологическое оформление их на французский манер суффиксом действующего лица – (*ат*)он (См.: Добродомов И.Г. Из заметок по лексике А.С. Пушкина [По следам разысканий о слове *шаматон* из “Капитанской дочки”] // Основы лингвистического анализа и методика преподавания иностранных языков в высшей школе. Ярославль, 1978. Вып. III; Чекалов К.А. Указ. соч.).

Следовательно, существующие этимологии, изначально ориентированные на поиск негативнооценочного содержания слова *шаматон*, сейчас не способны помочь нам в поисках ответа на вопрос об исходном, истинном значении слова.

Обратимся снова к ранним текстам. В повести М.Н. Загоскина “Три

жениха”, вышедшей в 1835 году с жанровым уточнением “Провинциальные очерки”, читаем: “Этот франт, шематон, губернаторский племянничек, так закидал меня словами, что я чуть было сама не поверила, что выдаю за него Вареньку” (Русские повести XIX века: 20-х – 30-х годов. М.–Л., 1950. Т. 2).

Расположенные рядом *франт*, *шематон* воспринимаются тождественными, равнозначными.

Еще один синоним к слову *шематон* (в написании на этот раз *шиматон*) обнаружил в 1935 году В.И. Чернышев в песне “Для чего ты просидела” в старинном “Новейшем российском всеобщем песеннике”. (М., 1803. Ч. I): “Уж как знать, что ты пленилась,/ В шиматона вдруг влюбилась?” Далее муж, узнавший об увлечении жены *шиматоном*, в конце песни говорит: “Петиметр ты проклятой,/ Нарушил ты мой закон”.

Значение устаревшего слово *петиметр* хорошо известно из русских текстов XVIII века. “В России XVIII века петиметр – это прежде всего манерный, изысканно одетый и пересыпающий свою речь галлицизмами щеголь” (См. Чекалов К.А. Петиметр // Русская речь. 1985. № 2). Но В.И. Чернышев побоялся отождествить слова *петиметр* и *шематон*, расходящиеся лишь хронологически, и приписал слову *шиматон* вторичное, контекстное значение “пустой человек, бездельник”.

Весь представленный нами ранее словарный материал из русской художественной литературы XIX века получает совершенно иное освещение единственным примером из авторской речи, который удалось найти в романе А.Ф. Вельмана “Новый Емеля, или Превращения” (1845), где слово *шематон* выделено курсивом: “Через два часа кузов на прямых рессорах остановился перед крыльцом дома Артамона Матвеевича, и Захарий Эразмович выскочил из него, как ловкий денди, или по-русски *шематон*”.

В последнем примере обращает на себя внимание семантическое отождествление слов *денди* и *шематон*, что проливает яркий свет на реальное смысловое содержание последнего.

Что касается содержания своеобразного определения по-русски при слове *шематон*, то его надо понимать не в этимологическом плане, а в том смысле, что новое английское слово *денди* точно соответствует привычному для русского уха слову *шематон*.

Следовательно, с изменением общественных приоритетов, вкусов, моды, ставшее слишком привычным, обыденным, понятным для всех, значит, ставшее немодным слово, обозначающее понятие “щеголь, франт” заменяется новым словом, первоначально эпатирующим общественный вкус. Так, *петиметр* конца XVIII века заменяется словом *шематон* первой трети XIX века, чтобы уступить в свою очередь место в лексиконе модника английскому *денди*.

Одно из первых употреблений *денди* известно всем благодаря первой главе “Евгения Онегина” (1823), где оно, неизвестное широкому

кругу читателей и неосвоенное еще русским языком, написано по-английски:

Вот мой Онегин на свободе,
Острижен по последней моде.
Как dandy лондонский одет
И наконец увидел свет.

В свете последовательного смыслового отождествления *петиметр-шаматон-денди* становится понятна та этимологическая основа слова *шаматон* (*шешаматон*, *шиматон*) – “щеголь, франт”, на которую наслаиваются все семантические коннотации (созначения) у русских писателей XIX века. Эти переносные, производные от основного, значения и принимаются исследователями и комментаторами художественных текстов, этимологами за основное значение.

Следовательно, при переиздании “Капитанской дочки” и “Словаря языка Пушкина” нужно указывать в дефиниции к словарной статье *шаматон*: *устар(елое)* “франт, щеголь”; *перен(осное)* “мот, повеса”, но не “шалопай, бездельник”.

Как уже сказано, слово *шаматон* было известно всем слоям общества, но особенно популярным оно было у мелкопоместного дворянства. Из русской глубинки “провинциалы” ревниво следили за всем происходящим в высшем свете, выписывали петербургские журналы или, как Андрей Петрович Гринев, Придворный календарь, но не всегда могли позволить себе выезд в Москву и Петербург и тем более содержать сына в гвардии.

Мечта русского дворянина – служить в гвардии, где были лучшие перспективы для карьеры, бывать и блистать в высшем свете. Гвардейского офицера окружал ореол избранности, он считался воспитанным в светском смысле слова, но часто старинной фамилии и придворных связей было мало. Ему необходимо еще обладать средствами и уметь их изящно тратить для поддержания своего реноме, то есть, по определению Гринева-старшего, когда он находился в “удивительном волнении желчи”, быть мотом и повесой, но никак не “бездельником, шалопаем, пустым человеком, вертопрахом, фатом, гулякой, прощельгой, пронырой”. Эти значения являют собой пример дальнейшей десемантизации слова *шаматон* в русской литературе послепушкинской поры.

Челябинск–Москва

За знакомой строкой



“Долгий ящик” А.А. Бестужева-Марлинского

Е.К. НИКОЛАЕВА,

кандидат филологических наук

С.И. НИКОЛАЕВ,

доктор филологических наук

Выражению “положить (отложить) в долгий ящик” везло: о нём писали много и охотно, поскольку считали исконно русским и отражающим историческую реальность. Возникновение его относили ко второй половине XVII века, ко времени царя Алексея Михайловича. Датировку и интерпретацию фразеологизма ввёл в научный оборот И.М. Снегирёв: «Предание свидетельствует, что в Коломенском селе у царя

Алексея Михайловича сделан был в столбе ящик, куда клали просьбы, от сего и поговорка: “положить в долгий ящик”» (Снегирёв И. Русские в своих пословицах. М., 1832. Кн. 3. С. 270). Такая этимологическая интерпретация выражения, отражающего бюрократическую волокиту, уже полтора столетия кочует в научно-популярных работах, и большинство исследователей принимает её безоговорочно. Согласно другой версии, выражение родилось позднее, в российских канцеляриях XIX века, и тогда “долгий ящик” – это ящик письменного стола, в котором отлёживались самые неспешные жалобы.

В.М. Мокиенко подверг тщательному сравнительно-лингвистическому анализу выражение “положить (отложить) в долгий ящик” и убедительно показал, что рассматриваемый фразеологизм в действительности является калькой немецкого оборота *in die lange Truhe legen*, который известен в немецком языке с XV века и был в ходу до XVIII века. Как раз в начале XVIII века он вошёл в русский язык, сохранив своё значение. Внутренняя форма немецкого фразеологизма основана на значении слова *die Truhe* – “сундук, ларь”. “Такие ящики-рундуки в средневековом германском судопроизводстве обычно использовались для хранения актов и дел, которые не решались сразу, а откладывались на неопределённое время” (Мокиенко В.М. Образы русской речи. Л., 1986. С. 40).

Историко-этимологическая интерпретация В.М. Мокиенко и его лингвистическая аргументация убедительны и сомнений не вызывают. Смущает, правда, мотивация выражения, вернее, то обстоятельство, что и на этот раз мы имеем дело с ещё одним вариантом всё той же “судебно-бюрократической” версии. Не берёмся судить о соответствии немецкого оборота исторической действительности, однако примечательно, что ни один из интерпретаторов русского оборота не ссылаясь на какие-либо документы, подтверждающие существование “долгого ящика” у дворца царя Алексея Михайловича, хотя именно эта эпоха благодаря в первую очередь трудам замечательного историка И.Е. Забелина изучена достаточно подробно, включая разнообразные постройки, поделки и прихотливые пожелания царя, тем не менее никаких упоминаний “долгого ящика” обнаружить у Забелина не удалось (см.: Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М., 1918. Т. 1. Ч. 1).

Не отвергая лингвистической аргументации В.М. Мокиенко, мы хотим лишь уточнить мотивацию оборота. По нашему мнению, “долгий (то есть длинный) ящик” – это просто эвфемизм слова “гроб”. Действительно, “гроб” в славянских языках и означает “ящик”; при этом показательно, что соответствующее польское *trumna* и словацкое *truhla* восходят к уже упоминавшемуся немецкому *Truhe*, которое, в свою очередь, в верхне-немецком также имеет значение “гроб” (см.: Славянские древности. Этнолингвистический словарь/Под ред. Н.И. Толстого. М., 1995. Т. 1. С. 553). Отметим, что “ящик” в значении “гроб” известен

русской фразеологии и помимо разбираемого оборота, например: “сыграть в ящик” (ср. англ. to go home in a box). Таким образом, если принять наше предположение, то оборот “положить что-либо в долгий ящик” означает просто “похоронить что-либо”, то есть забыть, предать забвению. Предлагаемая мотивация лишена прежней исторической и этнографической красочности, но вовсе не противоречит одному из главных свойств фразеологизмов вообще – образности.

В современном литературном языке употребление оборота “в долгий ящик” закрепилось с глаголом “отложить”, который почти полностью вытеснил глагол “положить”. XVIII век знал оба употребления, однако можно думать, что в русский язык оборот вошёл с глаголом “положить”. Во всяком случае, об этом говорит первая его фиксация, отражённая в “Словаре русского языка XVIII века” (Л., 1991. Вып. 6. С. 192), и фиксация достаточно знаменательная. В 1703 году Пётр I писал В.П. Шереметеву: “Вести псковския можно в долгий ящик положить” (Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1889. Т. 2. С. 166). Пётр I не только мог быть знаком с немецким оборотом, но и, безусловно, знал, что в русском языке глагол “положить” означал между прочим и “похоронить” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16. С. 237). В дальнейшей жизни в русском этой кальки с немецкого “долгий ящик” стал употребляться с разными глаголами, появились его варианты, исходная мотивация стала забываться, и в 1832 году И.М. Снегирёв изложил в печати документально ничем не подтверждённое, но зато в романтическом духе окрашенное *couleur locale* историческое “предание”, которое надолго закрепилось как в популярных, так и в более специальных работах по истории языка.

Предлагаемая нами мотивация фразеологизма “положить в долгий ящик” – это не столько плод этимологических штудий или верификации уже известных в науке версий, сколько попытка интерпретации вполне конкретного контекстного употребления оборота в художественном произведении. Один из героев повести А.А. Бестужева-Марлинского “Испытание” (1830), рассуждая о достоинствах и устройстве пистолетов, говорит: “Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела, и не одного доброго человека уложили в долгий ящик” (Бестужев (Марлинский) А.А. Ночь на корабле. Повести и рассказы. М., 1988. С. 71). “Долгий ящик” в данном случае – безусловный эвфемизм “гроба”. Почти схожим образом рассуждал и П.А. Вяземский, который в статье “Стихотворения Карамзина” (1866) писал: “Пётр Великий, может быть, сразу и совершил перелом, потому что он был преимущественно русский по духу и по природе своей и потому что он знал свой народ. Он знал, что с ним ничего в долгий ящик откладывать нельзя. Для русского долгий ящик тот же гроб” (Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 260).

Таким образом, для Бестужева-Марлинского и Вяземского “долгий

ящик” означает “гроб”. С чем, однако, мы имеем дело: с индивидуаль-но-авторским окказиональным употреблением или с проявлением исходной образности фразеологизма, что вообще-то нередко встречается у русских писателей XIX века? Приведённые ранее лексические данные в пользу гипотезы “долгий ящик = гроб” делают вполне вероятным как раз второе допущение. Искажение исходной образности, а затем демотивация фразеологизма, а тем более кальки – самое обычное явление во фразеологии. Вместе с тем, нельзя исключать и того, что известный остроумец и остролов П.А. Вяземский, мог, конечно, и сам этимологизировать словосочетание “долгий ящик”. Как известно, он с большим вниманием относился к разным словечкам и пословицам, на страницах его “Старой записной книжки” разбросано много метких наблюдений о русской идиоматике, встречаются у него и собственные (не всегда удачные) попытки этимологического объяснения пословиц (см.: Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 341–342, 434).

В повести же Бестужева-Марлинского “долгий ящик = гроб” звучит совершенно естественно, в этом употреблении нет искусственности. Но нельзя забывать, что мы имеем здесь дело со специфической социальной средой военных, в которой профессиональный диалект или даже бретёрский жаргон был очень консервативен и замкнут; далеко не всегда удаётся раскрыть или восстановить его особенности. В любом случае, словоупотребление Бестужева-Марлинского и пояснение Вяземского заслуживают внимания историка русской фразеологии – они если и не отменяют, то ставят под сомнение как единственно верную “судебно-бюрократическую” этимологическую версию распространённого фразеологизма.

Санкт-Петербург

Это загадочное сказуемое

О.М. ЧУПАШЕВА,

кандидат филологических наук

Синтаксический анализ предложения начинается с его грамматической основы и характеристики главных членов. Как показывает практика, трудности у абитуриентов вызывает определение типа сказуемого, его характеристика, особенно в тех случаях, когда оно состоит из нескольких раздельно оформленных слов. Вопросу о том, как определить тип сказуемого, чем различаются его разновидности, какие опасности подстерегают при анализе сказуемого и как их избежать, и посвящена данная статья.

Напомним, что в школьной грамматике разграничиваются три типа сказуемых, которые по структуре можно разделить на простые и составные, а по способу выражения – на глагольные и именные. В научной грамматике выделяют ещё одну разновидность сказуемого – сложное. Различие между простым и составным сказуемым заключается в способе выражения лексического и грамматического значения. В простом сказуемом оба значения сосредоточены в одном компоненте, а в составном – в различных. Ср.: 1) *Ф.И. Буслаев учился в Московском университете* и 2) *Ф.И. Буслаев был питомцем Московского университета ...* (В. Афиани). В первом предложении в сказуемом *учился* содержится и лексическое значение (учиться – “усваивать какие-н. знания, навыки”. С.И. Ожегов. Словарь русского языка. 1990. С. 844; далее толкования значений слов и страницы указываются по этому изданию) и грамматическое значение (прошедшее время, изъявительное наклонение). Во втором предложении лексическое значение заключено в именной части сказуемого *питомцем* (питомец – “чей-н. воспитанник”, с. 517), а грамматическое значение – в связке *был* (прошедшее время, изъявительное наклонение).

Еще одна важная особенность: в каждом сказуемом есть глагол, только в одних случаях он выражен словесно, а в других является нулевым (не пропущенным!). Ср. предложения (1), (2), в которых глаголы выражены словесно, и 3) *Человек от рождения добр* (Е. Богат). В предложении (3) глагол есть, но он нулевой, что подтверждается включением предложения в ряд (в парадигму) с предложениями, различающимися по времени: *Человек был добр, человек будет добр*. Отсюда, простым может быть только глагольное сказуемое, другие сказуемые составные или сложные.

Простое глагольное сказуемое, как показывает его название, образуется одним знаменательным компонентом – глаголом в любой форме наклонения и времени, ср.: 4) *Всё настоящее происходит в чистом сознании. Происходит* – глагол в изъявительном наклонении, настоящем времени. 5) *Запомни слова поэта, Желавшего всем добра...* (О. Дмитриев). *Запомни* – глагол в повелительном наклонении. 6) *Зашли бы ко мне сегодня. Зашли бы* – глагол в сослагательном наклонении. 7) *Блок читал свой сценарий исторической пьесы...* (Е. Замятин). *Читал* – глагол в изъявительном наклонении в прошедшем времени. 8) *Увижу инистый Исакий, огни мохнатые во льду...* (В. Набоков). *Увижу* – глагол в изъявительном наклонении, будущем времени.

Обращаем внимание на сказуемое в предложении 9) *Да, об этом мы и будем думать в залах Эрмитажа* (Е. Богат). Сказуемое *будем думать* состоит из двух отдельно оформленных слов, но эти слова образуют одну грамматическую форму – сложную (аналитическую) форму будущего времени, поэтому сказуемое относится к простым глагольным.

Возникают трудности при определении типа сказуемого и в тех случаях, когда оно выражено устойчивым словосочетанием. Здесь действует такое правило: чтобы установить тип сказуемого, выраженного устойчивым словосочетанием, надо заменить это сочетание синонимом и определить, каким сказуемым является синоним; к тому же типу относится и анализируемое сказуемое. Например: 10) *Каурка не дает прохода, преследует, требуя нового знакомства* (Г. Семенов); 11) *На существенные различия между устной и письменной речью ученого [Ф.И. Буслаева. – О.Ч.] обратил внимание один из мемуаристов* (В. Афиани). Сочетание *не даёт прохода* имеет синоним *не пропускает*, а *обратил внимание* – *заметил*. И тот и другой синоним в предложении выступает в роли простого глагольного сказуемого, значит, и сказуемые *не дает прохода*, *обратил внимание* тоже простые, глагольные.

Составное глагольное сказуемое, как следует из самого термина, образуется из двух знаменательных глаголов, один из которых в личной форме, другой – инфинитив. В инфинитиве заключено лексическое значение сказуемого. Личный глагол называется вспомогательным, он выражает прежде всего грамматическое значение сказуемого (именно он связывает сказуемое с подлежащим), кроме того, его лексическое значение включается в общее лексическое значение главного члена. Например: *Сократ захотел перевести жизнь в царство самосознания* (А. Лосев). Вспомогательный глагол *захотел* выражает грамматическое значение сказуемого – прошедшее время, изъявительное наклонение. Инфинитив выражает лексическое значение сказуемого (перевести – “переместить из одного места в другое, с одного места на другое”. С. 498), к которому добавляется значение вспомогательного глагола (захотеть – “начать хотеть”. С. 227).

Следует помнить, что составное глагольное сказуемое формируется не любым инфинитивом и личной глагольной формой, а только субъектным инфинитивом в сочетании с одним из трех видов вспомогательных глаголов: фазовым, модальным или эмоциональным (о разграничении субъектного и объектного инфинитива и о типах вспомогательных глаголов см.: Чупашева О.М. Определяем синтаксическую функцию инфинитива // Русская речь. 1999. № 1. С. 112).

Надо различать простое глагольное и составное глагольное сказуемое с одинаковыми глаголами в личной форме. Ср.: 13) *Он собирался в театр* и 14) *Он уже собирался попрощаться...* (Е. Богат). В предложении (13) глагол *собираться* имеет значение “снаряжаться, готовиться (чтобы отправиться куда-н.)” (с. 738), он используется вне связи с инфинитивом, это простое глагольное сказуемое. В предложении (14) *собираться* означает “решать что-н. делать” (с. 738), т.е. глагол является модальным и, сочетаясь с субъектным инфинитивом, образует составное глагольное сказуемое.

Позицию одной из частей составного глагольного сказуемого может занимать устойчивое сочетание. Работаем по сформулированному выше правилу. Проанализируем сказуемое в предложении 15) *А вот в устранении “пугающего” главную роль начинает играть личность преподавателя*. В сказуемом *начинает играть роль* сочетание *играть роль* имеет синоним *значить*, следовательно, оно может быть приравнено к сказуемому *начинает значить* – составному глагольному, отсюда и исходное сказуемое составное глагольное. Еще предложение: 16) *Я имею право говорить об этом*. Для сочетания *имею право* синоним *могу*, значит; сказуемое *имею право говорить* синонимично сказуемому *могу говорить*, относящемуся к составному глагольному, следовательно, анализируемое сказуемое также составное глагольное.

Составное именное сказуемое, как подсказывает термин, образуется двумя компонентами: глаголом и именной частью. Поскольку глагол связывает сказуемое с подлежащим, то он называется связкой. В именной части заключено лексическое значение сказуемого, а в глаголе-связке – грамматическое. Кроме того, глагол-связка в зависимости от типа может “осложнять” и грамматическое значение члена предложения. Например: 17) *Было уже темно на дворе* (Г. Семенов). Составное именное сказуемое *было темно* образовано из именной части *темно*, выраженной наречием, или словом состояния (см.: Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. Учебник для 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений. М., 1992. С. 130), и глагола-связки *было*, выражающей грамматическое значение – прошедшее время, изъявительное наклонение. В формировании лексического значения сказуемого эта связка не участвует.

Какие связки имеют лексическое значение? Известно, что связки бывают трех типов, различающихся степенью сохранения лексического зна-

чения: отвлеченные, полуотвлеченные (полузнаменательные) и знаменательные. Отвлеченная связка *быть* полностью утратила лексическое значение, она выражает лишь значение грамматическое, что и наблюдаем в предложении (17). Поэтому только она может быть нулевой, как в предложении (3). Грамматическое значение нулевой связки – настоящее время, изъявительное наклонение. Полуотвлеченные, или полузнаменательные, связки – это связки, частично сохранившие свое лексическое значение: *стать, становиться, делаться, казаться, являться* и под.

Сохранившееся лексическое значение связки включается в общее лексическое значение сказуемого. В предложении 18) *Содержание лекции оказалось трудным для недостаточно подготовленного первокурсника* (В. Афиани) лексическое значение сказуемого формируется из значения именной части *трудный* (“закрывающий в себе затруднения, нелегкий”. С. 812) и значения глагола-связки *оказаться* (“обнаружиться, явиться кем-чем-н., выявиться”. С. 446). Глагол-связка выражает и грамматическое значение – прошедшее время, изъявительное наклонение.

Знаменательные связки сохранили свое лексическое значение, но оно ослаблено; сюда относятся глаголы со значением движения и состояния: *приехать, вернуться, сидеть, лежать, служить* и др. Рассмотрим предложение 19) *Он [Московский университет. – О.Ч.] служил своего рода духовным центром России* (В. Афиани). Лексическое значение сказуемого складывается из лексического значения именной части (центр – “место сосредоточения чего-н.; важный пункт чего-н”. С. 871) и знаменательной связки (служить – “иметь своим назначением что-н., быть пригодным для чего-н”. С. 730). Но глагол-связка выражает прежде всего грамматическое значение – прошедшее время, изъявительное наклонение. Именная часть составного именного сказуемого может быть представлена именами в различных формах (предложения 2, 3, 18, 19, 21, 23, 26), причастиями: 20) ... *У городских ворот было устроено угощение и шествие...* (Е. Богат), наречиями, или словами состояния (предложение 17).

Знание структуры составного именного сказуемого и особенностей семантики связочных глаголов поможет отличить его от простого глагольного, выраженного тем же личным глаголом. Ср. предложения: 21) *Я был школьником* и 22) *Я был в школе*. В предложении (21) глагол *был* не имеет лексического значения, он охарактеризован в словаре так: “употр. как часть составного сказуемого” (с. 70). Этот глагол выражает только грамматическое значение (прошедшее время, изъявительное наклонение), лексическое значение сказуемого выражено именем существительным – рассматриваемое сказуемое составное именное. Аналогично: 23) *И в эпоху Сократа успехи науки были совершенно исключительными* (Е. Богат). В предложении (22) глагол *быть* сохранил свое значение “присутствовать, находиться” (с. 70), это простое глагольное сказуемое. Аналогично: 24) *Я был в стране Воспоминанья...* (В. Набоков).

Сравним такие предложения: 25) *Стул стоял у окна* и 26) *И вот*

стул Блока – с краю, у самого окна, стоял теперь пустым (Е. Замятин). В предложении (25) глагол *стоял* обозначает конкретное действие, он выполняет роль простого глагольного сказуемого. В предложении (26) сказуемое – *стоял пустым*, так как глагол не обозначает конкретного действия, его семантика несколько ослаблена.

В науке выделяется еще один тип сказуемого – сложное, в отличие от проанализированных сказуемых состоящее более чем из двух компонентов. Ограничимся примерами. 27) *Никакие обстоятельства неспособны были оторвать его* [А.Ф. Лосева. – *О.Ч.*] *от труда* (Ю. Ростовцев) – сказуемое представлено кратким прилагательным, глаголом-связкой и инфинитивом. 28) *Уроки понимания искусства должны стать и уроками понимания эпохи...* (Е. Богат) – сказуемое выражено сочетанием краткого прилагательного, нулевой связки, инфинитива и существительного (ср.: *Уроки... должны были стать уроками...; Уроки... должны будут стать уроками...*). 29) *Немыслимо трудно было попасть именно в родной Большой театр* – сказуемое сформировано из слова состояния, связочного глагола и инфинитива. 30) *Я должен явиться вовремя* – сказуемое выражено сочетанием краткого прилагательного, нулевой связки и инфинитива (ср.: *Я должен был явиться...; Я должен буду явиться...*). Обратим внимание на то, что последнее сказуемое в школе относят к составным глагольным.

Итак, чтобы не ошибиться в определении типа сказуемого, необходимо установить его структуру (простое – составное) и определить способ выражения (глагольное – именное). Если один из компонентов сказуемого – устойчивое сочетание, надо заменить его синонимом и определить, каким типом является полученное сказуемое; к той же группе будет относиться и анализируемый член предложения. Необходимо разграничивать различные виды сказуемого, в состав которых входит один и тот же личный глагол.

В заключение – предложения для самостоятельной работы. Распределите предложения на группы в зависимости от типа сказуемого.

1) Думаю, без особой патетики Алексей Федорович [Лосев. – *О.Ч.*] может быть уподоблен античному философу-атлету (Ю. Ростовцев). 2) Я хочу еще раз испытать себя (Е. Богат). 3) Я буду испытывать себя, собственные силы... (Е. Богат). 4) Будут ужин, и гитара, и слова под старину. Я вам за швейцара – вашу шубу отряхну (Б. Окуджава). 5) Тут-то и придет на помощь спасительное словечко “эврика!” (из газет.). 6) Досократовская философия не могла и не хотела обнимать жизнь логикой (А. Лосев). 7) Володя Иванов никогда в короткой своей жизни не испытывал затруднений на этот счет (Г. Семенов). 8) Ребенок становится мыслителем, мыслитель становится ребенком, думая об этом (Е. Богат). 9) Она [тема. – *О.Ч.*] имеет самое непосредственное отношение к замыслу писем из Эрмитажа (Е. Богат). 10) Отец служил летчиком. 11) Брат служил в армии.

Л.П. КРЫСИН. Толковый словарь иноязычных слов

Серию “Библиотека словарей русского языка” в 1999 году пополнило новое издание – “Толковый словарь иноязычных слов” Л.П. Крысина. Известный специалист в области лексикологии и стилистики современного русского языка, Л.П. Крысин работал над этим словарем с 1987 года: “Для лексикологии и лексикографии этих лет характерно сближение со многими направлениями современного языкознания, в частности с исследованиями языковой личности, с прагматикой, теорией общения и перевода, с лингвострановедением и этнолингвистикой, с теоретической и описательной грамматикой, наконец, с теорией и практикой автоматической обработки текстов на естественных языках. Они свидетельствуют о качественных изменениях лексикологии и лексикографии, обусловленных ростом общественной значимости их результатов и отражением в более совершенной инструментальной форме более глубоких закономерностей функционирования лексической системы” (Караулов Ю.Н. Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988).

Новизна словаря отражается уже в его названии – это т о л к о в ы й словарь иноязычных слов. Необходимость появления такого словаря назрела давно. В советской лексикографии было принято разграничивать два типа словарей: словари академического типа и словари-справочники. Практика подобной дифференциации восходит к работам Л.В. Щербы, в частности, к “Опыту общей теории лексикографии”: “... На вопрос, как же надо поступать, я не задумываясь отвечаю: надо сделать два словаря, один нормативный, а другой – справочник, определяя конечную цель последнего историческими, но прежде всего практическими – ведь справочник! – соображениями. Если нельзя сделать двух словарей, надо вступить на путь компромиссов, четко их оговаривая”. Однако опыт создания словаря-справочника компромиссного типа до появления “Толкового словаря иноязычных слов” Л.П. Крысина практически отсутствовал.

Новизна словаря заключается и в том, что, помимо сведений об этимологии, толкования, каждое слово снабжается грамматическими (а в необходимых случаях также орфоэпическими и стилистическими) характеристиками, указывающими нормативное употребление слова. Кроме того, словарная статья содержит перечень производных, образованных от данного иноязычного слова, фразеологические обороты и устойчивые терминологические сочетания, а также энциклопедиче-

ские и историко-культурные сведения о реалии, обозначаемой этим словом. Традиционные словари иностранных слов давали только энциклопедическую информацию, а авторы толковых словарей русского языка очень осторожно включали заимствованную лексику, руководствуясь идеологическими соображениями. Таким образом, возник лексикографический вакуум: грамматическая, орфоэпическая и стилистическая интерпретация заимствованных слов всегда вызывала затруднения. “Толковый словарь иноязычных слов” Л.П. Крысина представляет собой новый тип словаря-справочника компромиссного типа, существенно отличающийся от известных аналогов в лексикографической практике. Он адресован самому широкому кругу читателей.

Обращает на себя внимание то, что это толковый словарь и н о з а з ы ч н ы х слов. В практике отечественной лексикографии чаще фигурировало слово “иностранный” (словарь иностранных слов). Термин “иноязычный”, утвердившийся в последние годы в отечественной лингвистике, охватывает как слова, заимствованные из западноевропейских языков (а также из восточных: арабизмы, тюркизмы и т.д.), так и слова, вошедшие в русский язык из языков народов бывшего СССР и многонациональной России. Таким образом, употребление данного термина в названии отражает характер содержания настоящего словаря, который мог бы включать практически все слова, кроме исконно русских. Однако автор ограничивает словник иноязычными словами, появившимися в русском языке в последние три столетия (XVIII–XX), а также некоторыми из более ранних заимствований, составляющих важную в культурном и коммуникативном отношениях часть лексики русского языка.

В состав словаря были включены иноязычные слова, по каким-либо причинам не вошедшие в предыдущие издания словарей иностранных слов, например, *аудио, галстук, журнал, каракули, компот, лампа, майдан, моджахед, негроид* и др. Расширение словника (до 25 тыс. слов) было обусловлено стремлением автора включить слова, отобранные по этимологическому принципу. Известно, что в русском языке, по разным оценкам специалистов, всего лишь 10–30% слов являются исконно русскими по происхождению. Таким образом, любой словарь русского языка фактически представляет собой скорее словарь заимствованных слов. Словари иностранных (иноязычных) слов должны быть ориентированы, в первую очередь, на относительную новую лексику, заимствованный характер которой был бы очевиден даже для неспециалистов. В противном случае мы имеем дело со словарем принципиально нового типа – словарем лексических заимствований.

Включение новых иноязычных слов в состав нормативного словаря всегда проблематично: как определить языковые перспективы подобных элементов, ждет ли их судьба слов-“однодневок” или они тем или иным образом будут освоены русским языком, а, следовательно, воз-

никнет объективная потребность их лексикографической интерпретации? По-видимому, основным критерием целесообразности словарного описания того или иного иноязычного неологизма, кроме фактора проверки временем, следует признать частотность употребления – чем она выше, тем больше оснований для его включения в состав словаря.

Другой особенностью, отличающей “Толковый словарь иноязычных слов” Л.П. Крысина от обычных толковых словарей и словарей иностранных слов, является более полное отражение терминологического пласта лексики. Большое число таких слов образует, по мнению автора, общий терминологический фонд современного культурного человека: *менеджмент*, *синтез*, *теософия* и др.

Лексикографическое новаторство автора также проявилось в следующем: в словник включен ряд собственных имен, называющих лица и объекты, которые имеют общекультурное или историческое значение. Это, прежде всего, персоналии греко-римской мифологии (Геркулес, Зевс, Юпитер), имена основателей мировых религий (Будда, Магомет, Христос), некоторые библейские собственные имена (Голгофа, Иуда, Каин) и др. группы слов. В лексикографической практике такое лингвистическое освещение имен собственных уже становится традицией (См. “Толковый словарь языка Совдепии” В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной, СПб., “Фолио-пресс”, 1998 г.). Этот опыт представляется совершенно оправданным и даже необходимым, так как энциклопедические словари не предоставляют нужной информации собственно лингвистического плана, в то время как употребление подобных элементов часто сопровождается известными затруднениями в сфере определения их грамматических, орфоэпических или стилистических характеристик. Более того, некоторые тематические группы имен собственных фактически были табуированы в советский период, как, например, библейские названия.

Состав словарной статьи, обусловленный назначением словаря, включает одиннадцать зон: четыре обязательные (заголовочное слово в его исходной форме; грамматические сведения; зона этимологии; его толкование); остальные – факультативные (сведения о произношении; стилистические пометы; примеры употребления слова; словообразовательные производные; устойчивые обороты; энциклопедические сведения о реалии, обозначаемой словом; зона аналогов). Особый интерес в любом толковом словаре вызывает зона грамматических сведений о слове, которая включает две составляющие: указание основных форм и собственно грамматические характеристики. Грамматическая интерпретация слова в различных словарях не столь последовательна и закономерна, как его другие аспекты. Это можно объяснить как той или иной спецификой словаря, так и принадлежностью авторов к определенной лингвистической школе, субъективностью их взглядов. Лексикографическая путаница приводит к разным осложнениям в языковой

практике. Одним из выходов из подобного рода ситуаций является стремление к наиболее полному освещению в словарной статье грамматических особенностей слова. Так, в “Толковом словаре иноязычных слов” Л.П. Крысина при существительных дается помета о синтаксической неодушевленности, что связано с понятием согласовательных классов в работах А.А. Зализняка. Эта помета непосредственно определяет особенности словоизменения, а, значит, необходима в толковых словарях. Существительные также сопровождаются пометами, указывающими на исключительное или преимущественное употребление слова в единственном и множественном числе.

Очевидной заслугой словаря Л.П. Крысина является также тот факт, что автор не обходит стороной один из наиболее спорных вопросов отечественной грамматики – вопрос о неизменяемых прилагательных. Многие словари не дифференцируют несклоняемые существительные и неизменяемые прилагательные, ограничиваясь пометой “неизм”. Неразличения такого рода не дают в полной мере информации о грамматических особенностях употребления того или иного языкового элемента (ср. *беж* и *кенгуру* – в первом случае речь идет о прилагательном, а во втором – о существительном; если оба слова сопровождаются пометой “неизм”, то это создает целый ряд трудностей, связанных с их грамматической интерпретацией в языковой практике, что противоречит целям и задачам любого толкового словаря). Автор последовательно разграничивает подобные случаи, употребляя применительно к несклоняемым существительным помету “нескл.”, а по отношению к неизменяемым прилагательным – “неизм.”.

Заслуживает внимания и лексикографическая практика введения зоны аналогов в рамки словарной статьи, последовательно соблюдаемая в словаре Л.П. Крысина. Эта зона содержит перечень иноязычных слов той же тематической группы или терминологического ряда, что позволяет сравнивать, видеть различия в значении и употреблении. Это особенно важно, как подчеркивает автор в предисловии, когда речь идет о иноязычных словах.

Неконтролируемый поток заимствований, динамичные и интенсивные процессы революционного характера, происходящие в русском языке современного периода, делают создание любого нормативного словаря чрезвычайно трудной задачей. “Толковый словарь иноязычных слов” Л.Н. Крысина представляет собой новое слово в отечественной лексикографии.

Д.В. Бондаревский,
Ростов-на-Дону



Новые учебные книги по курсу “Русский фольклор”

Вузовская наука в последние годы заметно отстранилась от подготовки основательных учебных книг. И на смену многим устаревшим учебникам, как правило, приходили скороспелые поделки, которые создавали лишь видимость следования за общественным прогрессом. Каждый опытный преподаватель знал им цену и не торопился пускать в дело. Однако меньше всего это относилось к преподаванию фольклора. Фольклористика не самая открытая область для лихих набегов. Куда как хуже обстоит положение, к примеру, с подготовкой учебных книг по истории русской литературы. Между тем потребность в новых учебниках и в обновлении прежних становится всё острее. Выпуск учебных пособий издательствами “Флинта” и “Наука” – отрадный факт, и заслуживает одобрения инициатива известных педагогов и учёных Московского педагогического государственного университета профессоров Т.В. Зуевой и Б.П. Кирдана создать по единому плану сразу четыре книги для высших учебных заведений: программу, учебник “Русский фольклор” и две хрестоматии-антологии – текстов фольклора и текстов исследований, представляемых в достаточно обширных выдержках, а равно в небольших отрывках*. Все эти книги отвечают своему назначению – помочь студентам освоить вузовский курс в наиболее существенных частях. Филологам они помогут строже определить границы и характер преподаваемого предмета.

В кратком предисловии к учебнику авторы говорят, что “сохранили традиционное рассмотрение русского фольклора под историческим углом зрения, однако отказались от формально-социологической схемы” (Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник. М., 1998. С. 3; далее – только стр.). Под “схемой” авторы разумеют упрощение истории русского фольклора, когда имела место беспредметная периодизация и целые периоды истории фольклора, обозначенные как “фольклор времени первобытнообщинного строя”, “фольклор ранних феодальных отношений” и т.д., чаще всего оказывались недостаточно подкреплёнными разбором конкретного материала. Происходило это по простой причине: нет достоверных хронологических фиксаций фольклора, а ретроспективный анализ и реконструкция не имели раз-

* Русский фольклор: Программа. М., 1998; Русский фольклор: Учебник. М., 1998; Русский фольклор: Хрестоматия. М., 1998; Русский фольклор: Хрестоматия исследований. М., 1998.

работанных методик и подходов. По-видимому, построение истории русского фольклора ещё достаточно долго будет оставаться нерешённой проблемой. В этих условиях можно с пониманием отнестись к словам Т.В. Зуевой и Б.П. Кирдана о принимаемом ими характере освещения фольклора. Авторы сделали основной единицей рассмотрения *виды и роды* фольклора и, где возможно, сочетают их характеристику с “общим историческим принципом”. Таким образом, от историзма как принципа освещения фольклора они не отказались, но ввели его в границы, которые отвечают самой степени такой его изученности.

Вместо исторической периодизации авторы предложили лишь общее разграничение фольклора на укрупнённые части: “раннетрадиционный”, “классический” и “позднетрадиционный”. При этом наиболее неясным остается выделение “классического” фольклора. Концепции не достаёт соответствующего обоснования. Вероятно, было бы уместно сформулировать и изложить уже в самом начале, что принципом интерпретации фольклора должна стать история каждого жанра и каждого рода (разумеется, в границах уже изученного в науке, с включением в эту историю некоторых оговорённых моментов реконструкции и предположений, чего не избегает ни один из историков фольклора). Авторы склоняются именно к такому характеру подачи материала.

Нуждается в энергичной поддержке взгляд авторов на природу фольклора как явления искусства слова, хотя взгляд и оговорён ослабляющим соображением о предназначенности книги по специальности филология: “Для филологов фольклор важен как искусство слова” (5). Конечно, возможны и другие подходы в постижении фольклора. Без его рассмотрения трудно представить себе, к примеру, науку о народном быте. В этом случае изучение фольклора разделит методы, подходы, ставящие целью освоение этнической культуры, своеобразия этноса. Фольклор может стать важным материалом и для исследования истории общества, народной психологии, народного языка, истории религий и проч. Но из этого однако совсем не следует, как думают некоторые специалисты в области смежных с фольклористикой наук, что фольклор сам по себе – искусство лишь в некоторой части и, тем более, что в своей *основе* он не искусство. Просто народное искусство возникает в специфических исторических бытовых условиях, характерных для народа, и по этой причине запечатлено чертами быта. Однако при этом *основополагающее* художественное начало фольклора – результат преобразований бытовых начал в художественные, и таким фольклор был *изначально*. Он всегда был неотделимым от *неосознанно* художественной переработки впечатлений реальности. Вне художественных свойств (тем более в поздних “сознательных” формах – к примеру, в сказке, эпосе, прибаутке, игровом творчестве и т.д.) – фольклор вообще не может быть понятым. Таким образом, ныне модные претензии смежных с фольклористикой наук на полное владение её предме-

том решительно несостоятельны, хотя польза междисциплинарных связей несомненна.

Из идей, изложенных в вводной части труда, преподаватель фольклора разделит соображения авторов о синкретическом состоянии древнейшего фольклора, его неизменной традиционности, вариативности, роли импровизации, осуществляющейся в рамках традиции, о жанрообразовании и методе народного искусства.

Важный раздел учебника “Собирание и исследование фольклора” содержит сведения энциклопедического характера. Смущают, правда, некоторые историографические неточности: правильно ли причислять Н.А. Бердяева к последователям славянофилов (21), а В.В. Стасова – к “либералам-западникам”. В.Я. Пропп охарактеризован как “родоначальник структурализма” (47) и т.д. Все эти квалификации нуждаются в уточнениях. Кстати сказать, В.Я. Пропп называл себя неподкупным эмпириком, на что имел полное право. Так о себе сказать не может ни один из структуралистов: структурализм заменяет изучение фактов их схематизацией.

Рассмотрение других разделов учебника показывает, что сравнительно с существующими книгами (исключая давний опыт таких, например, как курс лекций профессора П.В. Владимирова “Введение в историю русской словесности”. Киев, 1896) Зуева и Кирдан включают в освещение “раннетрадиционного” фольклора и фольклора эпохи восточнославянской общности характеристику самих корней фольклорной культуры, особенностей древнерусского язычества. В этой связи рассматриваются трудовые песни, гадания и заговоры. Сделать это было совсем непросто. Авторы учебника на стр. 56 признают: “В целом система славянской мифологии ещё не восстановлена” и ограничивают себя характеристикой наиболее вероятных древних свойств народного календаря – месяцеслова, особенностей гаданий и образности заговоров.

“Классический фольклор”, по замечанию авторов, представляет “богатую систему развитых, художественно полноценных жанров” (71). Система эта продуктивно функционировала в течение веков. Она воспроизводится на основе достоверно известных произведений, хотя и в поздних записях, но близких ко времени её порождения. На первый план выдвинуто уяснение устойчивых жанрообразующих свойств и качеств фольклора, характеристика его жизненных тем и поэтики. Делается это с разной степенью обстоятельности и всегда подкрепляется материалом, что немаловажно для учебной книги. Когда дело касается обрядового фольклора, авторы вносят в своё изложение необходимые сведения об обрядах (календарный, свадебный и иной обрядовый фольклор). Из жанров необрядового фольклора наиболее удачным представляется разбор былин, легенд, загадок, лирических песен, фольклорного театра (народной драмы), детского фольклора. Точные сжатые характеристики содержат и другие разделы, а в названных при-

сутствуют и моменты, существенно обновляющие обычное учебное изложение материала (это в первую очередь касается классификации народных театральных зрелищ и развлечений, рассмотрения того, что условно называют “современной детской мифологией”).

Подробнее скажу о разделе, посвящённом былинам. Из-за увлечения эпосоведов конструированием внеисторических типологических схем в последние годы произошёл отход от уяснения исторических основ былины – этого важнейшего вида фольклорного искусства. Предпочтение отдавалось изучению сходства былин с эпосом других народов в темах, структуре, образности, стиле. Однако это не отменяет общей типологии, а предполагает исследование конкретных форм и свойств эпоса у каждого народа. Подлинная типология эпоса немыслима вне постижения его исторических свойств и качеств. Авторы возвращают характеристике эпоса то, чего ей недоставало долгое время.

Завершает учебник небольшой раздел, содержащий характеристику “позднетрадиционного фольклора” (355–382). Сравнительно с существующими учебными книгами лишь в главе “Частушки” авторы следуют устоявшимся характеристикам и оценкам. Главы о рабочем фольклоре и фольклоре Великой Отечественной войны содержат преимущественно характеристику тематических и стилевых свойств устного творчества, а также некоторые суждения о его особом происхождении. Можно пожалеть, что мало освещена принципиальная новизна поздних фольклорных традиций. Говорится лишь, что сами традиции обретают свойства, делающие фольклор близким литературе.

В учебнике много отсылок к сопутствующим ему книгам-хрестоматиям. В особенности это касается “Хрестоматии исследований”. В ней помещены важные для освещения истории фольклора суждения известных исследователей, причём предпочтение отдано новейшим работам. “Хрестоматия исследований” только подспорье для главной книги комплекта. Подборки и выдержки не заменяют собой хрестоматии по историографии фольклористики. У “Хрестоматии исследований” особая учебно-методическая цель.

Другого типа хрестоматия-антология русского фольклора. Она удачно дополняет учебник и, несомненно, окажется полезной учащимся и всем, кто захочет самостоятельно извлечь сведения о художественных свойствах рассмотренного фольклора.

В.П. Аникин,

доктор филологических наук

Тематический указатель статей, опубликованных в журнале “Русская речь” в 1999 году

Русский язык в современном мире

Костомаров В.Г. Без русского языка у нас нет будущего	4
--	---

Язык художественной литературы

Авилова Н.С. О глаголе <i>воять</i> у И.А. Бунина в “Божьем древе”	
Амелькин А.О. “Уездный франтик Петушков”	4
Архангельский А.Н. “Как описал себя пиит...” (Структурообразующая роль цитаты из стихотворения М.Н. Муравьева “Богине Невы” в “Евгении Онегине”)	3
Бельская Л.Л. “И вот он, август...”	4
Варик Л.О. Природа в поэме А.С. Пушкина “Руслан и Людмила”	6
Вацура В.Э. Утраченные стихи Пушкина (“Арзамасская речь”)..	3
Гапоненко П.А. Стилевая энергия эпиграмм А.Н. Майкова	2
Глухов В.И. И вновь о пушкинской “Деревне”	4
Глухов В.И. Имена персонажей в “Путешествии из Петербурга в Москву”	5
Дилакторская О.Г. “Маленькие трагедии” А.С. Пушкина (Жанровый аспект)	3
Долгушев В.Г. “Клеопатра” Блока и Ахматовой	6
Дубшан Л.С. “Канон в честь М.И. Глинки”: мотивы и мотивировки	3
Иванова Т.А. “И вся моя молодость прошла с ним...”	5
Илюшин А.А. “Мне все равно, – почесался он”	1
Клещикова В.Н. “Умереть – тоже надо уметь...” (Штрихи к лингвистическому портрету Булата Окуджавы)	2
Кошелев В.А. К поэтике литературного наименования: “образцовые поминки” 1833 года	3
Красикова Е.В. Крабий монарх и его империя. О символах в романе Ю. Домбровского “Факультет ненужных вещей”	6
Лекманов О.А. Два “Макара” двух А. Платоновых	5
Лекманов О.А. “Мороз и солнце” у Пушкина и Бунина	3
Лекманов О.А. О жизни, “ничтожной перед вечностью”, и “жизни бесконечной” в романе “Отцы и дети”	1
Лекманов О.А. “Стихов шкатулок” (К теме: “Маяковский и Анненский”)	4

Маркова О.Б. Terra Incognita Владимира Набокова	2
Матвеев Б.И. “Крылатая” латынь в прозе Салтыкова-Щедрина...	4
Мурьянов М.Ф. К комментарию текста “Дубровского”	3
Попов О.П. Заметки о языке поэзии А.К. Толстого	6
Попов О.П. “Золотистого меда струя...”	1
Попов О.П. Четыре скрипки	5
Рак В.Д. “Унижусь до презренной прозы...”	5
Савельева В.В. Творчество и злодейство в романе В. Набокова “Отчаяние”	2
Савельева В.В. Герои “Островитян” Н.С. Лескова как читатели Пушкина	3
Судаков Г.В. Предвосхитивший Пушкина	3
Фомичев С.А. Две редакции антологического стихотворения Пушкина	3
Хан-Пира Эр. О творческом характере авторских ремарок Ф.М. Достоевского	1

Наши публикации

Забывшие статьи С.И. Карцевского	2
“...К звездам поднимающийся свет...” (Из Пушкинианы Кирилла Померанцева)	1
Никитин О.В. Из фольклорного наследия А.А. Реформатского ...	4
“Огневая крылатость” поэзии матери Марии	6
Стихотворное обращение В.И. Даля к А.С. Пушкину	2
Филин М. После смерти Н.В. Гоголя (Из дневника Ф.И. Буслаева)	5
Филин Михаил. Пушкинский этюд Наталии Ильиной	3

Культура речи

Балакай А.Г. “Мир вашему дому!” (Формулы русского речевого этикета с компонентом <i>мир</i>)	1
Вороничев О.Е. Об омонимии и смежных явлениях	6
Воротников Ю.Л. “Более лучше, более веселее” (О грамматическом статусе аналитических форм сравнительной степени)	1
Граудина Л.К., Кочеткова Г.И. Лицейские учителя Пушкина об “истинном” красноречии и “мнимом”	4
Дерибас В.М. Подснежник	2
Дерибас В.М. СПИД и ВИЧ	6
Еськова Н.А. Существуют ли глаголы <i>преумножить</i> и <i>приуменьшить</i> ?	3
Журавлев А.Ф. Мир: <i>Миръ</i> и <i>миръ</i>	1
Красных В.И. <i>Годовой</i> или <i>годовой</i> ?	6

Красных В.И. Комфортабельный или комфортный?	4
Красных В.И. Туристический или туристский?	5
Москвин В.П. “Темное” слово судьба... ..	4
Хан-Пира Эр. В треугольнике: логика-язык-речь	5
Хан-Пира Эр. Знаковая фигура и культовый боевик	3
Хан-Пира Эр. Привносит ли лексиколог системность в лексику? ..	2
Ширшов И.А. Два и пара	5
Ширшов И.А. Нервы и невры	2
<i>Язык прессы</i>	
Алпеева Л.В. Ипподром, аэродром, психодром	3
Клушина Н.И. “Испорченное красноречие”: вчера, сегодня и... всегда?	1
Колесников Н.П. Языковые стразы на газетной полосе	2
Муравьева Н.В. Свобода от порядка	4
Нефедьева Л.И. Власти предержащие и власть имущие	5
Юдина А.Д. Оказионализмы на страницах периодики	5
<i>Родной язык</i>	
Познякова Т.Ю. Русский язык в языковом опыте билингва	5
<i>Практикум по культуре речи</i>	
Я говорю – ты говоришь	1,6

Из истории культуры и письменности

Анищенко О.А. Зубрить, долбить и “разводить клопов” (О старой школьной лексике)	3
Антошенкова Е.В. Как называли одежду в старину	5
Баранкова Г.С. Московский лингвистический кружок	6
Заметалина М.Н. Выражение идеи бытия в “Житии протопопа Аввакума”	3
Кедайтене Е.И. От покаяния – к благотворительности	1
Криничная Н.А. Тирлич-трава	1
Кулысова Т.В. Из английского мундира в свой	5
Мурыянов М.Ф. У истоков славянской карнавальности	4
Осокина Е.А. Таршиш и гиацинт: метафора и символ	2
Толстой Н.И. Страсть, бестрастье, страшный... ..	5
Трофимова Н.В. “...Вздохнув из глубины сердца...” (Изображение внутреннего мира человека в древнерусских воинских повестях)	2
Чернышева М.И. Пушкинский Арион: античный? христианский? ..	4
Щацкая М.Ф. Именования глав государств	2
<i>Беседы о лингвистическом источниковедении</i>	
Астахина Л.Ю. Из истории издания русских рукописных памятников	2,3,5,6

Из истории политического лексикона XX века

Зеленин А.В. Белогвардейцы, золотопогонники	6
Зеленин А.В. Белый в русской эмигрантской публицистике	4
Зеленин А.В. Красный в русской эмигрантской публицистике	5

Русские говоры

Шульгач В.П. Лябушка	4
-----------------------------------	---

Ономастика

Королева И.А. Фамилии с диалектными основами	2
<i>Топонимика</i>	
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России ...	1–6
Суперанская А.В. Эдуард Макарович Мурзаев (1908–1998)	3

Язык и образы фольклора. Писатель и фольклор

Азбелев С.Н. Пушкинизмы в репертуаре русского фольклора	4
Благова Г.Ф. Пословица в повести “Капитанская дочка”	6
Зуева Т.В. Фольклорные и литературные особенности сказок А.С. Пушкина	3
Коршунков В.А. Кошки, репки, хвосты и Масленица	2
Медриш Д.Н. В сотворчестве с народом (Родословная одного сти- хотворения)	1
Савенкова Л.Б. “...Что суждено, тому не миновать” (Мотив судь- бы в “Повестях покойного Ивана Петровича Белкина”)	5

Из истории слов и выражений

Алексеев А.В. Отчего бывает черная кручина?	5
Анищенко О.А. Калькулюс	5
Арапова Н.С. Бежевый	4
Арапова Н.С. Такси	2
Добродомов И.Г. О “призрачных” словах	1
Лукашев М.Н. Чемпион. Ринг	1
Лукашев М.Н. Гол	2
Митин В.В. “Пошто ты преник разрушил?”	5
Мурьянов М.Ф. Что такое счастье?	1
Носкова З.А. “Спереди обьяринный, а сзади пестрядинный”	4
Шаповал В.В. Цыганский барон	4
<i>За знакомой строкой</i>	
Валеев Г.К., Добродомов И.Г. Читая Пушкина,.. или Слово в за- щиту шаматона	6

Николаева Е.К., Николаев С.И. “Долгий ящик” А.А. Бестужева-Марлинского	6
Носкова З.А. “Крученые панычи, пидкрапивники...”	2
Шустов А.Н. “Братья меч вам отдадут”	3

Поступающему в вуз

Чупашева О.М. Определяем синтаксическую функцию инфинитива	1
Чупашева О.М. Подлежащее? Сказуемое?	2
Чупашева О.М. Это загадочное сказуемое	6

Среди книг

И.Б. Голуб. Стилистика русского языка	1
В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова. Читая и почитая Грибоедова. Крылатые слова и выражения	4
Л.П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов.....	6
Т.Г. Никитина. Так говорит молодежь.....	4
Новые учебные книги по курсу “Русский фольклор”.....	6

Почта “Русской речи”

Белякова С.М. Еще раз о том, что называется “русским”, и о китайской грамоте.....	1
Бортник Г.В. По имени называют, по отчеству величают	4
Васильев Н.Л. Сколько слов в русском языке?	4
Еськова Н.А. Еще об ударении в слове <i>йогурт</i>	2
Костинский Ю.М. Лев Николаевич ошибся?	5
Суслова И.П. О значении слова <i>поликлиника</i>	5
Хан-Пира Эр. <i>И те кто, (которые, что)...</i> , или немного о синтаксической синонимии.....	4
Шилов А.Л. “За ним кликну Карна...”	4

Хроника

Ономастика на XII Международном съезде славистов.....	1
---	---